



*Юлия
Лавряшина*

**Навеки
твой**

За чужими окнами

Юлия Лавряшина

Навеки твой

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Лавряшина Ю. А.

Навеки твой / Ю. А. Лавряшина — «Эксмо», 2019 — (За чужими окнами)

ISBN 978-5-04-099541-7

«Я хочу, чтобы ты соблазнила моего мужа», – однажды попросила Люсю сестра ее лучшей подруги. И это было тем более странно, что со стороны семья казалась вполне счастливой, а Павел – сильный, симпатичный, brutальный – являлся едва ли не идеалом мужчины. Но что поделать, если каждый из этой троицы запутался в собственных чувствах и утратил почву под ногами?! И Люся согласилась. Но вот что из этого вышло?..

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-099541-7

© Лавряшина Ю. А., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Лэрис, Принцесса и Ланселот	6
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Юлия Александровна Лавряшина

Навеки твой

© Лавряшина Ю., 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Лэрис, Принцесса и Ланселот Современная легенда

*В Каине будет наших дней гаситель.
Д а н т е. Божественная комедия.
Ад. Песнь пятая.*

Кошка съела мышку. Что может быть разумнее? Если б только это не была моя диковатая недотрога, моя страстная девственница, неуловимая прелесть бесцветных дней. Она душила мышь не спеша, чуть отступая и любясь видом агонии, как художник любит удачным мазком. С отвращением наблюдая за этой сценой, я уловила промелькнувшую в душе зависть: моей Принцессе удалось создать саму смерть. Опомнившись, я поспешила покинуть место казни, но кошка пришла почти следом, сохраняя на морде выражение кровожадного блаженства. Подумать только: моя неженка зарычала, когда я слишком приблизилась к ее добыче.

Мне казалось, что теперь я не смогу притронуться к ней, но уже спустя полчаса мы вновь ласкались, мурлыча, почесывая шейку, покусывая пальцы. И я подумала: почему на российском гербе никогда не присутствовала кошка? Куда больше, чем с орлом, у русского человека сходства именно с кошкой. Та же неистребимая ленивая созерцательность, та же роковая подверженность пагубным страстям, бросающая из драки в загул на неделю, та же знаменитая загадочность как русской, так и кошачьей души.

Истинным кошкам не нужны машинки для счета денег, но их требуется все больше. Нуворишам не надоест подсчитывать доходы. Вилфреду Сагену¹ их норвежские двойники казались косяками блестящей сельди. Меня мама приучила смотреть на них, как на мальков. Лишь примитивные организмы, говорила она, способны испытывать страсть не к человеку, а к деньгам и власти. Выражение «Там, наверху, видней!» было ей чуждо. Мальки могут быть только внизу.

Другое дело – кошки.

* * *

В том сентябре солнце еще не щадило себя и беспечно рассыпалось теплыми «зайчиками» по бесчисленным верхушкам деревьев. Теперь уже не бывает таких сентябрей, мое детство жадно впитало их и, уничтожив, обессмертило, как янтарь сохраняет навечно угодившую в смолу мошку. Если поднести камень к глазам, то можно разглядеть скрюченные лапки и замершие крылышки. Если зажмуриться, легко увидеть, как мы идем втроем по сырой, увядающей траве, которая еще не догадывается, что пришла осень, и молодится изо всех сил.

Чувствуя некоторую неловкость, мы проходим среди опустевших дачных домиков и останавливаемся возле нашего любимого. Собственная дача нам не по карману, и мы кружим возле чужих. Нам неизвестно, кто живет здесь летом, потому что мы приезжаем сюда только в сентябре. Но круглый самодельный стол под чуткими соснами, издали приветливо розовеющий влажными досками, и пять чурбачков-стульчиков вокруг него наводят на мысль о большой семье, в которой есть отец.

Мне кажется, что мама думает об этом каждый раз, когда мы присаживаемся на чурбачки и Андрей зачем-то принимается сдувать скомканные темные листья. Мама никогда не останавливает его и не делает замечаний, но на лицо ее налипают паутинка грусти. Я толкаю брата

¹ Вилфред Саген – герой романа норвежского писателя Юхена Боргена «Маленький лорд».

ногой, он спохватывается и затихает. Несколько минут мы сидим молча, одинаково сгорбившись и зажав озябшие руки между коленями, словно поминаем кого-то, и даже знаем – кого, но никогда не произносим вслух его имени, пока этого не сделает мама.

Но вот она поднимает голову, и я с облегчением замечаю, что в ее глазах закипает веселье. Мы вскакиваем и бежим по тропинке, повизгивая от касаний высоченной крапивы и сбивая задремавшие капли росы со слабых папоротниковых перьев. Кажется, всюду пахнет грибами, но мы-то знаем, что найти их будет не так просто. Конечно, мы попытаемся, за тем и приехали, но чуть позже. Сначала мы должны взглянуть с горы на долину реки, которая в городе отпугивает серой мутью, а здесь лениво и ласково искрится.

Вдоль берега безмятежно распластались деревеньки с неизвестными нам именами. Они так далеко, а гора под ногами так круто уходит вниз, что чудится, будто мы парим над землей, и над излучиной реки, и над Змеиным логом, до которого так ни разу и не дошли.

Андрей кричит во все горло, приветствуя своих любимцев: разлапистые деревья, стоящие особняком среди согретой солнцем долины. Брат в который раз доказывает, будто с нашей площадки они похожи на здорового кабана и поднявшегося на задние лапки сказочного ежика. Это действительно так, но я не соглашаюсь с ним. Ему везде мерещатся чудеса, и это наводит на тревожные мысли о слабоумии. В тринадцать лет мальчишки не должны видеть сказочных ежей. Мама слушает наш спор, улыбаясь, но мы оба знаем: она тоже любит этих несуществующих зверюшек.

«Пойдемте, – говорит она и обнимает нас за плечи. – Уже начинает припекать, того и гляди – грибники сбегутся».

Я привычно возражаю: «Настоящие грибники еще на заре все выбрали».

Мама отвечает обычной насмешливой улыбкой, от которой чуть заметно дрожат узкие крылья носа, и ведет нас через березняк, пронизанный косыми лучами солнца. От белых крепких стволов и приглушенного света здесь особый, молочный воздух, и мы затихаем, чуть слышно ступая по влажной земле. На краю рощи солнечным маяком вспыхивает ослепительная лиственница. Она выводит нас на узкую полосу желтого поля. Взгляд спотыкается о темные, тяжелые стога, но эта нарочитая угрюмость никого не может обмануть, ведь давно известно, сколько удовольствия таится в колкой душистой куче сена.

«Оно сырое, – останавливает мама. – Еще простудитесь».

Брат восторженно вопит, завидев пасущихся коров, и, вырвав пучок травы, бросается к одной из них – покормить с рук. Но животное не стремится к близости с человеком. Завидев Андрея, корова подхватывается и легко, по-лошадиному гарцуя, бежит прочь.

Мама хохочет, разметав черные волосы, а брат уже находит новую радость – целое семейство черных груздей. Он едва не наступил на них, когда гнался за коровой. Деловито осмотрев грибы, мама складывает их в корзину – слишком большую, нам не набрать столько.

Вскоре и я приношу первую добычу. Я со всех ног бегу к маме, склонившейся над громадной корягой, но она безразлично отбрасывает мою находку: «Это ядовитые, не бери такие».

«Ты точно знаешь? – не отстаю я. – Они совсем не похожи на поганки».

«Конечно, знаю». Она уже идет дальше, раздвигая палкой подсохшую траву, но ее слова не убеждают меня.

Я нахожу выброшенные мамой грибы, прижимаю их к груди и, глядя на ее удаляющуюся, охваченную солнцем фигуру, хочу крикнуть: «Почему, если у меня, так непременно – поганки?!»

* * *

Когда я выходила от мамы, бережно прикрывая больничную дверь, пухлые прошитые бока которой от усталости покрывались мелкой испариной, зимние сумерки каждый раз

ловили меня в сети призрачной красоты. Было не положено замечать ее, но она лезла в глаза так же нахально, как моя кошка к чужой тарелке – зажмурившись, вытянув острую морду.

Из тишины больничного парка крадучись наполнили тени, распластавшиеся на слежалом снегу, как хорошо обученные солдаты. Моему брату не пришлось мерзнуть в снегах, его тело обожгло чеченское солнце, и каждое лето с тех пор одевалось в траур. Природа старательно вычеркивала из моей души привязанность к самым долгим временам года – сейчас был декабрь, и у мамы уже не хватало сил дожить до весны.

Заглядевшись на мягкий колобок запорошенного снегом куста, я опять прозевала, как испарилась, вместе с остывающим на лету дыханием, обязательная мысль о нелюбви к зиме. Воздух, прошедший через мои легкие, теперь наберется кислорода и вольется в чей-то рот, соединив меня невидимой нитью с чужим человеком. Породнит нас... Эта мысль была отвратительна, меня даже передернуло, и я обнаружила, что замерзаю.

Можно было постоять у одинокого столба с нервно подрагивающей табличкой, сообщавшей, какие номера автобусов, возможно, останутся тут, но стоило мне только представить бьющийся в бесконечной агонии салон, продуваемый всеми ветрами и все же переполненный едким запахом отработанного газа, как меня неудержимо тянуло пройти пешком. Тем более все равно через остановку пришлось бы выходить, а тратиться на билет, чтобы на десять минут раньше оказаться в осиротевшей квартире, я не могла себе позволить. Да и, признаться, после часового пребывания у маминой постели хотелось немного размять ноги, сквозь подошвы лоя ощущение упругости раздавленного снега.

Все фонари вдоль улицы, ведущей к нашему дому, светят по-разному. Из мертво-фиолетового, разбавленного неуверенностью сумерек, попадаешь в медовое тепло фонаря-новичка, но впереди уже ждет неприкрытая тоновым стеклом яркость обычной лампы. Эти-то домашние лампы всегда и раздражали меня сильнее всего.

Я шла домой, мечтая о весне, и мне казалось, эти мысли о маме. Только поравнявшись с низенькой музыкальной школой, оставленной мною после четырех лет борьбы с собственными пальцами, я поняла, что на самом деле думаю о Лэрис.

Она приснилась мне сегодня, и этот сон был до того не похож на другие ночные видения, что до сих пор не отпускал меня. Мне привиделось огромное поле свежих, едва распустившихся тюльпанов, тугих, окропленных росой...

Но было ничуть не зябко сидеть среди влажных цветов, дожидаясь скорого рассвета, ведь в коленях у меня копошился крошечный теплый совенок. Заботило только то, что нужно было накормить птенца, а я никак не могла вспомнить, чем питаются совы. Голодный совенок стал щипать мне руки, сначала робко, но постепенно все больше входя в раж и раздирая кожу. Стало больно, а из боли родился страх перед безупречной красотой подрагивающих на утреннем ветру тюльпанов. Хотелось побежать, ломая сочные стебли, пачкая босые ноги цветочным соком, но что-то удерживало, будто я была пригвождена к этому месту.

Внезапно из низкорослых цветочных зарослей выскочила крохотная лягушка. Совенок встрепенулся, учуяв добычу, и оставил в покое мои руки. Я поспешно накрыла лягушку ладонью и, ощутив судорожные толчки влажного тельца, крепко сжала кулак.

– Ешь, дурачок, – шепнула я совенку и слегка придушила лягушку.

Она замерла, но, раскрыв ладонь, я встретила полный ужаса взгляд и вскрикнула, сбросив ее на землю. Мне показалось, что на меня посмотрел мой погибший брат.

Чья-то тень накрыла нас всех. Я подняла голову и увидела Лэрис...

Из приоткрытой форточки донеслись звуки Моцарта. Оплывшие на крыльце голуби встрепенулись и недовольно заурчали, нервно дергая шеями. Они не выглядели голодными, эти музыкальные голуби, но все же мне стало неловко оттого, что нечего им покормить. В сумке лежала только коробка конфет, ни с того ни с сего подаренная мне утром матерью одного

из моих воспитанников. Я отнесла ее своей маме, но она отказалась, напомнив, что никогда не любила сладкого. Правда, мне так и не удалось вспомнить – правда это или нет на самом деле.

Я следила за голубями, за едва заметным паром, поднимавшимся над их неугомонными головами, и убеждала себя, что птицы не станут есть конфеты. Даже если Моцарт будет звучать вечно. Вдруг захотелось зайти внутрь, в школу, из которой я сбежала семь лет назад, и подарить конфеты своей бывшей учительнице. Я все еще чувствовала перед ней вину, потому что даже тогда понимала – в отношении меня она питает особые надежды, порожденные разноцветьем дипломов, полученных мною на разных конкурсах. Сама я принимала их с некоторым удивлением и даже стыдом, прекрасно понимая, что жюри в очередной раз оплошало. Но Ирина Михайловна об этом не подозревала. Тогда она была удивительно милым и добрым человеком.

Уже оказавшись в вестибюле школы, я вдруг испугалась и начала лихорадочно подыскивать объяснения своему запоздалому визиту. Если я сознаюсь, что зашла просто отдать ей эти надоевшие мне конфеты, то не смогу простить себе этого до конца жизни. Наверное, я придумала бы что-нибудь убедительное, но в этот момент Ирина Михайловна, провожая ученицу, распахнула дверь своего (все того же!) кабинета. И она сама, и все вокруг было прежним: тот же облупившийся бюст Чайковского у входа, те же скрипичные ключи на стенах, тот же сладкий запах инструментов и старых нот...

– Наташа! – произнесла она с такой радостью, что я едва не залилась краской. – Господи, девочка моя, как ты выросла! Что ты здесь делаешь?

Лэрис бы сумела придумать что-нибудь трогательное и красивое. Я же призналась беспомощно:

– Просто захотелось зайти...

– Не может быть.

Еще бы, я и сама в это не верила!

– И тебе, в самом деле, ничего от меня не надо?

Это было уж слишком – я едва не разревелась от стыда. Но Ирина Михайловна схватила меня за руку тонкими крепкими пальцами, тепло которых было давно мною забыто, и потащила в кабинет. Здесь уже были зажжены лампы, спрятанные в круглые абажуры, – вульгарные подобию ландышевых головок. Наверняка их не протирали со времен моего обучения. Ландыши близ угольного террикона!

Усадив меня в единственное кресло, Ирина Михайловна устроилась за письменным столом, покрытым исцарапанным оргстеклом с синей изолентой по ободку. Это стекло лежало тут вечно и не собиралось исчезать. Из кресла я не видела, что хранилось под стеклом, но была уверена, что пара забавных детских фотографий там обнаружится без труда. Мама никогда не совала знакомым наши с Андреем снимки.

– Ну, надо же! – Ирина Михайловна никак не могла успокоиться. – Как же я рада тебя видеть!

– Я думала, вы меня не узнаете, – глупо сказала я.

Еще бы ляпнула – «надеялась»!

– Ну что ты! Я помню всех своих учеников. Их же у нас не так и много. А уж таких, как ты... Да рассказывай же, чем занимаешься? Как мама?

Она была единственным человеком, задавшим мне этот вопрос за последнюю неделю, и я поняла, что зашла сюда только затем, чтоб его услышать. И все же начала я не с главного.

– Так ты работаешь в школе? У мамы? Воспитателем? В третьем классе? – казалось, ей никогда не надоест удивляться. – А почему в институт не поехала поступать? Струсила?

Я скосила глаза на коричневое фортепиано, стоявшее в углу, и светлая пыль на нем показалась мне похожей на песок.

– У меня тогда брат погиб. Там, в Чечне. И мама вскоре заболела. Злокачественная опухоль. Знаете, от нее стало пахнуть. Это ужаснее всего... Такой странный запах... Теперь я жду Лэрис, я ей написала о маме. Лэрис была невестой брата.

Можно было не сомневаться, что Ирина Михайловна сочувствует, просит не отчаиваться, крепиться... Только бы вслух этого не произносила. Никто, кроме меня, не имел права говорить об этом.

– Хочешь, пойдем ко мне, – наконец, сказала Ирина Михайловна, и в голосе ее не прозвучало никакой слезливости. – Это удобно, не беспокойся. Дети живут от нас отдельно, а муж любит, когда ко мне приходят ученицы. Он уже в том возрасте, когда особенно приятно поглядеть на хорошеньких девочек. Просто поглядеть.

Ей удалось заставить меня улыбнуться, но не идти в гости. Мы проговорили еще с полчаса, и, уходя, я испытывала странное чувство, будто мама побывала в этой небольшой комнате с графическим портретом Глинки над инструментом. В больнице она почти не разговаривала со мной.

Когда я вышла на крыльцо, голуби опять встрепенулись, и, словно от их движения, щелкнула невидимая пружина, и вновь зазвучал Моцарт. Я прислушалась и вновь подумала о Лэрис.

О, Лэрис! В ее имени для меня слились и протяжность любовного вздоха моего брата, и детское пристрастие к кличкам, и неудержимая энергия волны, не желающей знать, что впереди ее ждет гранитный утес... Убеждена, что, даже разбившись вдребезги, разлетевшись на сотни солнечных брызг, она не поверила бы в то, что жизнь кончена. Лэрис создана для радости, ее слезы кажутся фальшивыми, даже когда она плачет взаправду.

Помню, как пришла к ней три года назад, когда она слушала пластинку, подаренную моим братом – «Коронационную» мессу Моцарта. Уверена, что тогда Лэрис впервые взяла ее в руки. Лицо опухло от слез уже почти до неузнаваемости, но все же это была прежняя, неугомонная Лэрис. Так она сама себя назвала, так звал ее мой брат, и мы с мамой вслед за ним.

– «Реквием» подошел бы больше...

Кажется, она даже не услышала моих слов и продолжала раскачиваться, сбиваясь с такта и постанывая. Она сидела на полу, но разбирала не груды писем, а черно-белые фотографии, с которых улыбался Андрей.

Что-то в этой сцене уже тогда показалось мне ненатуральным, но что именно – я догадалась много позднее, когда смогла без боли восстановить в памяти детали тех дней. В тот момент мне почудилось: Лэрис сознательно раздувает огонь отчаяния, боясь, что без усилий извне он окажется недостаточно сильным. Не то чтобы ей был страшен людской суд, нет! Лэрис пугалась собственного суда, собственной несостоятельности в той любви, о которой она столько твердила. И Моцарт, и фотографии, и эта жалкая поза – сгорбившись, на голом полу, в щелях которого скопилась пыль, – это были те страховочные канаты, которые вытягивали Лэрис на достойную, по ее убеждению, высоту чувства.

Тогда я не поняла этого, лишь чуть отпрянула в душе, обожженная непрошеной мыслью: «А все же он не достался тебе!», но тут же устыдилась того, что не только позволяю себе так думать, но и вообще имею силы ходить, покупать ненужные маме продукты, готовить еду и неизвестно за что упрекать Лэрис, когда цинковый гроб с изувеченным телом Андрея еще не прижился в своем новом доме.

Я уходила из нашего общего дома, лишь бы не видеть потемневшего лица матери, для которой больше не существовало этого мира. Андрей был для нее не просто сыном. Если кому-то удавалось увидеть во плоти свою мечту о совершенном человеке, то он поймет, почему для мамы мир был ограничен контурами тела сына. «Как легко ты поднял всю Англию...»²

² У. Шекспир. Король Джон.

Он виделся ей Ланселотом, о котором в детстве мама часто читала нам легенды. И Андрей, еще мальчиком, оправдывал ее надежды. Красота обязывает мужчину всей своей жизнью доказывать, что он стоит именно столько, сколько сулит его лицо. Сила Андрея была как раз в этом: он никому и ничего не доказывал. Он просто жил так, как ему жилось, и если блестящая память позволяла ему стать первым учеником без малейших усилий, то выглядело это так, будто иначе у него просто не получалось.

Учителя признавались маме: «На уроках Андрей сидит с таким отсутствующим видом! Кажется, и не слышит ничего. А спроси – повторит все чуть ли не слово в слово». Даже дворовые приятели с легкостью прощали ему школьные успехи, потому что всем было ясно – ради них он вовсе не лезет из кожи вон.

К тому же Андрею удалось поднять валявшуюся за покосившимися стайками гирю какое-то бесцельное количество раз... После уроков в кабинет литературы непременно заглядывал кто-нибудь из девчонок и, пряча глаза, тоненьким голосом просил маму узнать, как относится к ней этот баловень судьбы.

Почему-то, кроме меня, никого не беспокоило, что эта удачливость может испортить Андрея. Мама искренне не находила изъянов в своем творении. Для нее он уже в тринадцать лет стал рыцарем без страха и упрека. То, что Ланселот был беден, как церковная мышь, и всю жизнь вожделем запретный плод, маму не смущало. Первое для нее не играло никакой роли, от второго она надеялась оградить сына.

И тогда я решила взять на себя роль Строгого Оценщика.

Когда брат впервые показал мне свои рисунки, я сразу увидела в них подражание Босху. Андрей обескураженно развел руками: ему было неловко признаться, что среди маминых альбомов по искусству добрая половина была им даже не просмотрена. Целый вечер он просидел, разглядывая работы «почетного профессора кошмаров» и то и дело поднося к глазам то один, то другой свой рисунок.

«Жаль», – вздохнул Андрей, наконец, и я решила, что он больше не станет рисовать. Теперь, когда обнаружился Первый, он обязан был оставить это занятие. Но спустя неделю я обнаружила у него в ящике целую серию новых рисунков, насквозь пропитанных Босхом.

Я была оскорблена.

Я разорвала все листы.

Но через некоторое время появились новые, и я почему-то не стала их трогать.

Многозначительная, мрачная символика его работ раздражала меня – разодранные домашние туфли; оставленные то там, то тут непременно закрытые книги; копошащиеся в навозе петухи, которых мой брат мог видеть только на экране. Природа наградила его внешнестью Звездного мальчика, а он страдал от несовершенства мира, и это казалось мне нарочитым.

Одно я знала точно: художником он становиться не собирался. Из случайных замечаний и отдельных фраз я сделала вывод, что брат мечтает о карьере киноактера. Как-то просматривая старый альбом, мама заметила вслух: «Даже удивительно, насколько ты фотогеничнее нас с Наташкой!» И он тут же откликнулся – слишком порывисто, слишком звонко: «Правда? Когда-нибудь это мне пригодится». – «Посмотрим», – поспешила я влить обязательную ложку дегтя.

Выбор брата коробил меня. Из всех искусств кино казалось мне самым примитивным. Оно навязывало образы, которые литература позволяла создавать самим. Перспектива, что мой брат станет очередной смазливой мордашкой на экране и все будут по глупости им восхищаться, приводила меня в уныние. А он легко мог стать ею, в этом сомнений не было. Стоило ему захотеть... На уроках физкультуры я придирчиво осматривала жалкие, безволосые тела своих одноклассников и убеждалась, что равных моему брату здесь нет.

Но навстречу своей мечте Андрей не сделал ни шагу. Просто сидел в нашем трехэтажном домишке, стоявшем на отшибе в провинциальном городке, и ждал, когда судьба сама позовет его. И она позвала. Но в другом, южном направлении.

– Какой может быть в Москве погранотряд? – удивилась мама, получив первое армейское письмо. – Даже смешно!

Но это не было смешно. И первой это поняла Лэрис, метнувшая быстрый, настороженный взгляд.

Лэрис возникла в жизни брата на другой день после выпускного бала. При всей любви к Андрею я не могла не признать, что он всегда был на редкость инфантилен, и буйная энергия Лэрис привела его в восхищение. В то время она уже оканчивала медицинское училище, поэтому взялась за брата с профессиональной опытностью. В первую же ночь он не вернулся домой, и если бы Лэрис не притащила его на следующий день, брат, кажется, и не вспомнил бы про нас.

Никогда больше я не испытывала такой ярости, как в то утро, когда они влетели в комнату, переполненные радостным светом, и меня обдало запахом свежести, июньской листвы и сдобных булочек, которые Лэрис принесла нам к завтраку. До сих пор мне не удается разгадать: действительно ли маму обрадовало появление Лэрис, или она впервые в жизни так искусно притворялась, но ей навстречу она просияла своей лучшей улыбкой, в которой не могло быть ничего поддельного. Улыбка брата была другой – слегка неправильный прикус придавал ей оттенок детской беззащитности. На свете просто не могло существовать женщины, у которой эта улыбка не вызвала бы острого желания защитить. Но только в Лэрис мой брат увидел настоящему надежное убежище от всех жизненных невзгод.

Однако даже она не смогла уберечь его от войны.

* * *

Для своей кошки мы поставили в углу спиленный ствол карагача. Андрей нашел его за домом и долго возился, устанавливая и безжалостно сдирая известку с потолка. Когда, наконец, все было готово, он взял Принцессу, в обиходе – Цессу, и поднял ее над головой. Она тут же вцепилась в ствол своими крючковатыми когтями и, забравшись, как на трон, на спиленную боковую ветвь, с характерным кошачьим высокомерием оглядела нас, людей, разом оказавшихся внизу.

* * *

– Постой!

Ирина Михайловна догнала меня на узкой тропинке через пустырь, основательно заваленный снегом. В детстве, возвращаясь из «музыкалки», я ставила папку с нотами на бесконечный сугроб и везла ее, оставляя долгую ложбинку, по которой весной должен был побежать над землей ручей. Но мои ложбинки проседали вместе с сугробами и к весне успевали покрыться жесткой грязной коркой. Так и не удалось мне проложить новый путь.

Было тесно идти по тропинке вдвоем, поэтому Ирина Михайловна пристроилась сзади, отчего я, пока мы не миновали пустырь, испытывала некоторую неловкость. Оказалось, она забыла забрать нужные ноты у знакомой, жившей в той же стороне, что и я. Правда, всю дорогу я подозревала, что ей просто вздумалось проводить меня... Признаться, это было не очень умно с ее стороны: не могла же она провожать меня каждый вечер! А сегодняшний ничем не отличался от остальных.

Я думала так до тех пор, пока мы не подошли к нашему дому – старому трехэтажному уродцу, стыдливо розовеющему остатками штукатурки. Окна первого этажа располагались так низко, что, выглянув на улицу, можно было увидеть только подрагивающие при ходьбе зады. Час за часом, год за годом люди смотрели на чужие задницы, и эта панорама неуловимо вращалась в их жизнь.

Нам повезло. Мы могли себе позволить быть выше этого, потому что жили на третьем.

Я не сразу заметила в наших окнах свет. Некоторое время мы еще постояли с Ириной Михайловной у подъезда, делая вид, что не замерзли, и мне показалось – она ждет приглашения войти. Наконец, я собралась с духом и попрощалась, но она удержала меня за рукав и не по-учительски робко заглянула в лицо.

– Я скажу тебе на прощание ужасную вещь. Когда ты рассказывала мне о маме, я вдруг подумала: как же ей повезло. Твоей маме, я имею в виду. Она пережила сына всего на три года. Другие живут с этим десятилетиями. Смотри на это так, и тебе станет легче.

– Не знаю.

Я и вправду не знала. Я не до конца поняла ее.

– Ты еще заглянешь?

Следовало пообещать, но я еще помнила, что когда-то очень любила ее, и не смогла обмануть. Но, глядя, как она уходит, стараясь не обернуться, я поняла, что ей хотелось быть обманутой. Она назвала бы ложь надеждой.

Тогда-то я и обратила внимание на эти косые прямоугольники света на посиневшем снегу. Боясь поверить мгновенной догадке, я запрокинула голову, и апельсиновое тепло наших окон захлестнуло меня радостью – Лэрис! Лэрис приехала!

После похорон Андрея она приходила к нам почти каждый день, но проводила с мамой больше времени, чем со мной. Однажды мне даже показалось, будто Лэрис меня избегает. В тот день она не застала маму дома и тут же ушла, не согласившись подождать. Потом что-то произошло между ними, и Лэрис исчезла. Мама молчала, а я не допытывалась. Она вообще теперь больше молчала.

Как-то мы встретились с Лэрис на улице, и она, отчего-то смутившись, сказала, что уезжает в Москву. Мол, здесь ее больше ничего не держит, сестра выходит замуж, и вся семья будет только рада, если Лэрис освободит лишний уголок. Примерно через полгода она сообщила свой новый адрес, но мы почти не переписывались. Те редкие, беспорядочные послания, составленные вопреки всем законам орфографии и логики, что приходили из Москвы, трудно отнести к эпистолярному жанру. Некоторые из них были даже лишены обращения, и нам не сразу удавалось угадать, кому же они адресованы – мне или маме. Правда, в последнее время нам нечего было скрывать друг от друга. Поначалу мама настороженно относилась к письмам Лэрис и торопливо пробегала их глазами, прежде чем читать вслух. Я так и не узнала, чего она опасалась.

И вот Лэрис вернулась... Только сегодня, хотя я написала ей о болезни матери около двух недель назад. Открыла дверь своим ключом, о котором я и забыла. Но об этом подумалось позже. Когда же из комнаты донесся ее громкий, чуть сипловатый голос, я сумела только всхлипнуть и выдать:

– Лэрис... Ох, Лэрис...

– Кто-то пришел? – Она высунула лохматую голову и завопила: – Наташка, солнышко! Как же я соскучилась по тебе!

Ни три года назад, ни сейчас Лэрис нельзя было назвать красавицей. Помню, когда я увидела ее впервые, то почувствовала себя оскорбленной: принцы часто сдуру влюбляются в Золушек, но нельзя же не видеть, до какой степени она – Золушка! Ее полнота была лишена мягкой женственности, скорее, Лэрис напоминала толстого мальчишку. Может, поэтому она так и деформировала свое имя.

Но лицо ее было действительно хорошо. Несмотря на правильность черт, оно не имело свойственной такому типу статичности, а было живо, прелестно изменчиво и лукаво. Артистична Лэрис была невероятно, постоянно кого-то пародировала и перевоплощалась, веселя всех нас. Она была из тех Золушек, которым и в голову не приходит, что они не принцессы.

– О, Лэрис, – простонала я, размазывая слезы по ее рубашке, – почему ты так долго не ехала? Я осталась тут одна, совсем одна! Ты даже не представляешь, как маме плохо... Да пойдем же, что мы встали в коридоре?

– Наташка, подожди! – крикнула Лэрис, но я уже вошла в комнату.

Стоявший у окна парень обернулся, и пронзительный ветер, сорвавшийся с чеченских гор, ослепив на миг, свалил меня с ног...

...Я выплывала на поверхность, путаясь в понятиях и событиях. Мне удалось приподняться на локтях, но не собраться с мыслями, и некоторое время лица Андрея и Лэрис плавали передо мной, никак не связанные с реальностью. Такое ощущение я испытывала в детстве, когда мы с братом по очереди со всей силы давили другому в солнечное сплетение, вызывая короткий обморок. Это было забавно, ведь когда он отключался, я могла делать с ним все, что угодно...

Они пытались привести меня в чувство, тормошили, стоя рядом на коленях, и так тесно прижимались плечами, будто успели срастись за этот миг.

– Ну, слава богу! – первой воскликнула Лэрис и схватила меня холодными руками за лицо. – С ума сойти, как ты меня напугала! Честное слово, я и не подозревала, что ты можешь так отреагировать, а то бы...

Я вцепилась в ее руки, силясь угадать, на каком же мы свете. Они были замерзшими, но живыми. Однако Андрей не исчезал. Смотрел на меня, морщась как от боли, и молчал.

– Ты!

Оттолкнув Лэрис, я рванулась к брату, но руки мои нашли пустоту – он успел отстраниться.

– Ты что?!

Я пыталась дотянуться до него, подползая на коленях, а он все отклонялся, прячась за спину Лэрис. Тут она сгребла меня в охапку и стала лихорадочно гладить, словно заглаживая вину.

– Наташенька, – начала она извиняющимся тоном, – это не Андрей, понимаешь? Хотя действительно просто невероятно похож. Можно сказать, один к одному! Его зовут Глеб. Я нашла его совершенно случайно: летели в Турцию на одном самолете. Твою телеграмму я получила как раз перед отлетом и всю дорогу думала, чем бы помочь. И тут увидела Глеба... Я сама чуть в обморок не грохнулась, честное слово! Хотя он тогда был не так похож. У него вообще-то светлые волосы, это я потом его перекрасила. Зато теперь – идеальное сходство!

– Лэрис...

Это был не вопль, это был стон протеста.

– Как ты могла, Лэрис? Тебе это кажется забавным?

Ее лицо жалко сморщилось, но устыдить Лэрис было не так-то просто.

– Лэрис, ты устроила мне повторные похороны...

– Ты ничего не поняла! Иди ко мне. – Она легко подняла меня с пола и усадила на диван, оставив Глеба на ковре.

Он сидел, скрестив ноги, и внимательно изучал ворсинки, перебирая их до неприятного худыми пальцами. Едва заметная пылинка зацепилась за его неровный ноготь, Глеб поднес ее к глазам и принялся сосредоточенно изучать.

«Да он же слабоумный!» – едва не вскрикнула я, но в этот момент Лэрис опять заговорила, и мне пришлось сдержаться.

– Когда я увидела его, это было как озарение. Я вдруг поняла – это единственное, что может спасти Анну Васильевну, если медицина бессильна. Кстати, из твоей телеграммы я ничего толком не поняла. Что значит – неизлечимо больна? У нее рак?

– Злокачественная опухоль головного мозга, – заученно сообщила я. – Она теряет зрение. Ее измучила боль. Врачи боятся оперировать.

– Мы все чего-нибудь боимся, – неожиданно подал голос Глеб, и меня бросило в жар от этих знакомых интонаций.

– Лэрис, – прошептала я, не сводя с него глаз.

– Что, солнышко?

– Нет... Ничего...

– Я бы кофе выпила, – вдруг заявила Лэрис и потащила меня на кухню. – Я тебе сейчас все расскажу.

Собственный план казался ей простым до гениальности. Чего уж проще? Вцепиться в парня, по невероятному капризу природы похожему на Андрея, вот только – не семи пядей во лбу... Порыдать у него на плече пару минут, рассказывая душщипательную историю о погибшем женихе и его умирающей матери – глупые люди часто очень сентиментальны! Вытащив из самолета, помочь ему распахать турецкий товар, побрить и перекрасить; притащить, наконец, в родной городишко в расчете подсунуть его полуслепой женщине вместо погибшего сына, чтобы она умерла счастливой.

– Она тут же поправится, – настаивала Лэрис, бодро звеня чашками. – У вас что, и кофе нет? О господи, придется пить чай... Ненавижу чай!

– Мама никогда не пила кофе...

– И водку! И не курила. И вот, пожалуйста! Верь после этого медикам.

– Ты знаешь, из-за чего она заболела.

– Еще бы! Думаешь, я могу хоть что-нибудь забыть?

– Выходит, да. Ты забыла маму, Лэрис, если хоть на миг поверила, что она попадетя в твою ловушку. Неужели ты действительно думаешь, что наша мама может спутать чужого человека со своим сыном? Да взгляни на него повнимательнее, ведь он намного старше Андрея. У него такие мешки под глазами, морщины у рта... Ты же помнишь, Андрей уходил совсем мальчиком.

Лэрис внимательно оглядела нас обоих и перевела взгляд за окно, тонко схваченное морозом. Слова, которые она произнесла, так ей не подходили, будто были вычитаны в едва различимых строках снежного манускрипта:

– С войны не возвращаются мальчиками.

– У него даже взгляд другой!

– Но ты ведь рухнула, едва увидев его! А она к тому же сейчас плохо видит.

– Я – другое дело. Я была не готова. И потом я не обладаю материнским инстинктом.

Лэрис поморщилась:

– Да брось ты! Какой там инстинкт у человека в ее состоянии... К тому же я сочинила такую легенду, которая объяснит все произошедшие в нем перемены.

– Значит, так, – я набрала в грудь побольше воздуха. – К маме я вас обоих и близко не подпущу! Можете катиться вместе со своими легендами и благими намерениями в свою незабвенную столицу и проводить там ваши дурацкие эксперименты. Если маме суждено умереть, пусть она умрет спокойно, без глумления над ее горем. Похоже, ты плохо понимаешь, что с ней случилось. Или же тебе все равно? Почему после моей телеграммы ты еще отправилась в Турцию, а не прилетела прямо сюда?

Она взглянула на меня, как на полную идиотку, и терпеливо объяснила, что у нее на руках уже были билеты и виза. И потом, это ведь заняло немного времени! Работа есть работа...

– Да уж, работа...

– Ну, – хмыкнула Лэрис, – каждый зарабатывает, как может. Можно, конечно, и на ставку сидеть, если дети есть не просят.

– А у тебя что, просят?

– Может быть, – туманно отозвалась Лэрис. – Мы чай будем пить сегодня или нет?

– Стоп! – заорала я, видя, как она собирается сесть за стол. – Вы что, не поняли меня? Убирайтесь отсюда! Оба! У меня умирает мама. Я только что вернулась из больницы, неужели я не имею права побыть одна со своим горем?!

– Со своим горем! – передразнила Лэрис и вдруг с размаху ударила по столу, свалив чашку. – Это только твоя мать, да? Я к ней и к Андрею никакого отношения не имею? Зачем же ты звала меня, если хотела быть одна? Я только пытаюсь хоть чем-то помочь!

Глеб, до этого сидевший с совершенно отсутствующим выражением, словно очнувшись, опустился на колени и принялся собирать осколки. Держа стекло в руке, он быстро глянул на меня снизу, и я едва не вскрикнула, так он был похож на Андрея в этот момент.

– Он не похож на него, – пролепетала я, защищаясь, но Лэрис мгновенно уловила слабинку в моем голосе.

– Да пойми ты, наконец, никто не собирается глумиться. Как ты вообще можешь говорить такие вещи?! Разве Анна Васильевна не заслужила права хотя бы действительно умереть счастливой? Никто из нас не сможет сделать этого, только он.

– Умереть? – нараспев произнес Глеб, обводя кухню блуждающим взглядом. – Кто должен умереть?

Лэрис рванулась к нему и обхватила за плечи: «Нет, маленький, нет! Никто не умрет, не бойся...»

– Что с ним?

Во всей этой сцене, и в выражении ее лица, и в том, как Глеб, сгорбившись, прильнул к ней, было что-то до того жуткое и необъяснимое, что мне захотелось убежать, вернуться к маме и забыть о людях, занявших наш дом. Не глядя на меня, Лэрис увела его в комнату и уложила на диван, но Глеб вырвался и сел, уткнувшись лицом в ладони. Она постояла над ним, постукивая сжатыми кулаками, и возвратилась ко мне.

– Не обращай внимания, – сухо сказала она и схватила с плиты чайник. Брызги кипятка разлетелись, защищая ее.

– Надо было сначала заварку налить. Он болен, да?

Где-то далеко зазвенел трамвай, морозным пунктиром подчеркивая зависшую тишину. Лэрис пускала в кипяток тонкие коричневые струйки, и руки ее ничуть не дрожали. Это были крепкие, уверенные в своей силе руки.

– Все мы бываем больны, – она слизнула зависшую на носике заварника темную каплю. – И не одной тебе бывает плохо. Ты можешь поверить в это?

* * *

– Смотрите...

Мама подвела нас к окну и указала на пронизанные солнцем, возникшие за ночь морозные кренделя. Тонкие до прозрачности в верхней части окна, внизу они были налиты матовой объемностью, и мы знали, что постепенно холодные щупальца зимы проникнут и на внутреннюю сторону рамы. Их будет приятно отколупывать затупившимся карандашом, чтобы потом, мимоходом, опустить ледяной обмылок за ворот брату.

– Что здесь нарисовал мороз?

Я скорчила рожу: мама опять говорила учительским тоном!

– Чертополох! – Мой ответ должен был огорчить ее и вернуть к реальности.

Но она только вскинула брови и протянула: «М-м-м?»

У брата вырвался чуть слышный вздох.

– Похоже, – вяло подтвердил он. – Только подводный.

– Подводный? – с надеждой подхватила мама и опустила руки ему на плечи.

– Да, видишь вокруг водоросли, а на самом дне раскрытые раковины. Это жемчужины так сочно блестят. А чуть повыше – стаи мальков.

– Ничего этого здесь нет, – возразила я. – Ты все выдумываешь.

Мама неожиданно согласилась:

– Конечно, выдумывает.

И добавила, потрепав меня по затылку:

– Поэтому он – художник, а мы с тобой – нет.

– Ты все еще злишься на меня?

Лэрис подкралась сзади, когда я смотрела из окна кухни на свежий снег. Вчера, с ее приездом, отступили морозы, и небо нехотя затянулось пеленой. Наверное, скучные облака тянулись от нашего дома до самой Москвы. И если бы Лэрис была там, то сейчас, стоя у окна, она видела бы такую же серую тяжесть неба, пронзенную промерзшими ветвями. И ей бы так же хотелось... Впрочем, я никогда не знала, чего в действительности хочет Лэрис.

– Я была вчера в своей музыкальной школе...

– В музыкальной школе? Разве ты училась музыке? – Она старательно напрягла лоб, вспоминая. – Ах да... Но ты же бросила ее тысячу лет назад. Зачем тебе это?

– Что именно?

– Цепляться за прошлое! Зачем ты всех заставляешь жить вчерашним днем?

– Мне просто надо было с кем-нибудь поговорить.

– Ну да! С учительницей, которую ты не видела лет десять! О чем ты с ней говорила?

– Лэрис, разве это не мое дело?

Заскочив на подоконник, Лэрис звонко хлопнула себя по голым коленям.

– А-а, не нравится? А то, что ты делаешь, думаешь, всем нравится?

– Кому – всем?

– Да хоть Глебу. Ты смотришь на него так, будто он взорвал храм Христа Спасителя. Ему и так тошно, между прочим.

– Отчего же ему-то так тошно?!

Замявшись с ответом, Лэрис принялась виновато тереть нос, и было похоже, будто она готовится мне соврать. Однако услышанное мной было так неожиданно, что походило на правду.

– Он обкурился вчера, понимаешь? Перебрал. Отчасти в этом и ты виновата... Он слишком боялся с тобой встретиться.

– Наркотики?!

Лэрис испуганно замахала на меня:

– Бог с тобой! Какие наркотики... Так, травка. Я думала, ты догадаешься.

– Не догадалась, как видишь. О господи, Лэрис, и ты полагаешься в таком деле на какого-то жалкого наркомана? Да, что с тобой, Лэрис? Ты вообще в своем уме?

В ответ она глуповато хихикнула:

– А я ведь обманула его... Сказала, что созвонилась с тобой, и ты очень даже не против. Это еще там, в Москве было. Иначе он бы не поддался на уговоры. Ну еще, конечно, роль сыграло, что у него тоже мать умерла. Почечная недостаточность. Когда он это рассказал, мне знаешь что подумалось? Их судьбы – его и Андрея – как зеркальное отражение. В Турцию он как раз летал, чтобы покрыть расходы на похороны. Это сейчас недешево стоит. Отец назанимал кучу денег, а сам угодил в наркодиспансер. Алкоголик...

– Я не хочу этого знать, – остановила я. – Ты пытаешься меня разжалобить? Напрасно. Ни его прошлое, ни будущее не волнуют меня. Он – не Андрей, и этим все сказано.

Лэрис тяжело слезла с подоконника и стала собирать грязную посуду. Включив воду, она некоторое время наблюдала, как разбивается струя о сбитую эмаль раковины, а я следила за ней, пытаюсь угадать мысли. Когда Лэрис повернулась, лицо ее было будто сжато в кулак.

– Да, это не Андрей, – согласилась она. – Того милого, простодушного Андрея не было бы даже в том случае, если б он вернулся живым.

– Ты стала выражаться чересчур туманно.

– Может, я просто стала больше думать? И вот что я надумала: ты боишься, что Глеб может оказаться не хуже. Тебе кажется, будто это оскорбит память брата. А я радуюсь при мысли, что Андрей был не последним порядочным мужиком на земле.

– Порядочным? Наркоман?

– Ой, прекрати! – Ее даже передернуло от моих слов. – Если б ты пережила столько, сколько довелось ему, то вряд ли бы осталась пай-девочкой. А может, тебе тоже есть что скрывать, а? Какой-нибудь тайный порок?

Я едва удержалась от желания вцепиться ей в горло, но вовремя сообразила, что Лэрис просто блефует. Не может она за один вечер что-нибудь разнюхать. Вчера я даже не заходила в кладовку.

– Разочарую тебя, но тайному разврату не предаюсь. А тебе бы хотелось найти во мне слабое место, да, Лэрис?

– Ни в коем случае! Разве Верховный Судья может быть грешен? Такое открытие способно перевернуть все представления о мире.

Недослушав Лэрис, я выскочила из кухни и наткнулась на сидевшего посреди комнаты Глеба. Он опять устроился на ковре, скрестив ноги, только теперь у него в руках была детская электронная игра. Когда я чуть не наступила на него, он нехотя поднялся, загородив собой дверной проем, и впился в меня настороженным взглядом.

– Я могу пройти? – не выдержала я, и Глеб, не проронив ни слова, сделал шаг в сторону.

Но стоило мне войти в «светелку», как называли в семье нашу с мамой комнату, он тут же явился следом. В толстом светлом свитере ручной вязки, изможденный и угрюмый, он был похож сейчас на шведского рыбака, вернувшегося после изнурительного выхода в море. Не спрашивая, что ему понадобилось, я отвернулась и стала собирать сумку. Надо было поторапливаться в школу, но я никак не могла найти книгу по кинологии, обещанную одной девочке, и это выводило меня из себя. К тому же за спиной безмолвно торчал Глеб, наблюдая за мной своим странным, затуманенным взглядом.

– И долго ты собираешься глазеть на меня?

В скользнувшей по его губам усмешке было что-то от волчьего оскала.

– Ты смущаешься, когда на тебя смотрят?

– Что тебе надо?

– Мне? – Глеб с безразличным видом развел руками. – Абсолютно ничего. Мне-то казалось, это я тебе понадобился. Но если вышла ошибка, я хоть сейчас могу уехать. Если Лэрис на билет даст. Но она не даст. Она уверена, что ты хочешь спасти свою мать. Никак не хочет поверить, что не так уж и страшно жить без матери... К этому можно привыкнуть. Ко всему, оказывается, можно привыкнуть.

– Ты говоришь это вполне серьезно?

– Вполне.

– Лэрис говорила мне о твоей матери.

– А-а, – насмешливо протянул Глеб. – Лэрис говорила! Лэрис любит поговорить. Только нельзя все ею сказанное принимать за чистую монету.

– Но у тебя действительно умерла мама?

– Не делай виноватого лица. Я уже давно научился обходиться без матери. И она без меня тоже.

– Ты говоришь о загробной жизни?

Он впервые взглянул на меня с интересом:

– О загробной? Может быть. Странная это штука – загробная жизнь.

Меня выбивало из равновесия то, что угадать, валяет ли Глеб дурака или говорит серьезно, было абсолютно невозможно. Кажется, ему даже доставляло удовольствие морочить мне голову, потому что, стоило мне разозлиться по-настоящему, лицо его прояснилось, и Глеб рассмеялся.

– Что это ты вдруг развеселился?

– Да так. Лэрис не предупредила, что я вообще со странностями? Сейчас мне, например, совершенно неожиданно захотелось тебя нарисовать.

– Нарисовать? Так ты тоже рисуешь?

– Тоже?

– Мой брат хорошо рисовал. Он мог бы стать великолепным художником.

– Правда? – без интереса произнес Глеб. – И ты, конечно, расхваливала его на все лады!

– Не важно...

– Действительно, не важно. Вообще, какая разница – нравится другим то, что ты делаешь, или нет? Хотя мои шаржи обычно нравятся.

– Шаржи?

Он уловил в моем голосе разочарование, но даже бровью не повел.

– Ну да, шаржи, – спокойно подтвердил он и взял со стола карандаш. – Дай-ка лист бумаги. Низкий жанр, я знаю. Твой брат, уж конечно, не опустился бы до такого. Он-то учился на работах великих мастеров.

– Откуда ты знаешь?

– Ночью я пришел в себя и от нечего делать немного порылся в книгах.

– А где еще?

– А что, здесь припрятаны сокровища? Хорошо, что предупредила, теперь я этого так не оставляю.

– Рисуй. – Я достала обычный школьный альбом и старый фарфоровый сапожок с карандашами.

Глеб подался вперед и осторожно взял его в руки. Худые пальцы ласково заскользили по золотистым завиткам, и это было движением слепого, стремящегося познать мир через его крохотную часть.

– Я видел такой когда-то, – нехотя пояснил Глеб, заметив мой взгляд. – Мне казалось, таких больше нет.

– Разве может быть что-то в единственном числе? Их штампуют на какой-нибудь фабрике.

Несколько раз кивнув, он вернул сапожок на место и попросил меня сесть. У него оказалась забавная манера работать: он все время посмеивался, пока рисовал, поблескивал глазами и откровенно любовался своим творением. Я и не подозревала, что Глеба можно по-настоящему развеселить. Шарж отнял не больше двух минут и привел меня в полное изумление. Раньше мне и в голову не приходило, что это может быть до такой степени смешно и при этом не обидно. Я боялась, что рисунок выйдет злым.

– Ну, как? – прежним невыразительным тоном поинтересовался Глеб. – Не смешно, да?

– Когда ты начал рисовать шаржи?

– Я так и знал, что тебе не понравится...

– Я только спросила, когда появились первые шаржи?

– Зачем тебе это? В армии. Защитная реакция организма.

– А где ты служил?

Его глаза снова будто подернулись пеленой.

– На границе. На Севере.

– Ах, на Севере!

Не понимаю, зачем я сказала эти слова. В сущности, они ничего не значили, но Глеб отреагировал на них как-то странно. У него вдруг передернулось все лицо, и я невольно отшатнулась, предположив, что он страдает какой-нибудь формой тика. Подобные отклонения приводили меня в ужас. Только чувство долга заставляло меня общаться с мальчиком из своего класса, у которого то и дело сокращалась скрытая лицевая пружина.

Но Глеб уже справился с собой, только в пальцах еще жило беспокойство.

– Я задерживаю тебя, – произнес он так, словно гнал меня из дому. – Я так и не понял, кем ты работаешь в школе?

– Воспитателем. У меня нет высшего образования.

– И ты стыдишься этого...

Он не спрашивал, он утверждал, моментально очнувшись от своей нескончаемой дремоты. Радость озарила его изнутри, и мне почудилось, что сейчас Глеб зарычит от предвкушения добычи. Его предположение, само по себе, было не столь уж и обидно. Скажи это кто-нибудь другой, я отбрила бы его не моргнув глазом. Но от Глеба исходило что-то зловещее, чему я даже сопротивляться могла с трудом. Даже его сходство с братом уже не раздражало, а по-настоящему пугало меня. Как зловредное зеркало, Глеб показывал мне Андрея таким, каким тот никогда не был, но мог стать, приходилось признать это. И я не желала смириться с таким для него будущим.

Даже оставшись одна, я слышала его возбужденное дыхание, и мне никак не удавалось сбросить оцепенение. Мой взгляд был все так же устремлен мимо двери, которую Глеб аккуратно прикрыл за собой, в окно, и я внезапно вспомнила, как в детстве, делая уроки у этого окна, изредка поднимала голову и видела, как возле домика напротив прогуливает толстого кота одинокая женщина-карлик. Они появились здесь недавно и гуляли всегда в одно и то же время. Я следила за этой женщиной и пыталась представить, как чувствует себя человек, обреченный даже на детей смотреть снизу вверх. Тайком я даже сочиняла истории о бедной карлице и перечитывала их на ночь, замирая от сладкой жалости.

Но однажды я вспомнила о своих тайных знакомцах в выходной день и, подбежав к окну, увидела, что с котом гуляет женщина обычного роста. Сначала я испугалась за свою карлицу, но, взглядевшись попристальнее, с изумлением поняла, что передо мной та же самая женщина. В ошеломлении я опустилась на стул, и все мгновенно встало на свои места: кот стал неизменно толстым, а его хозяйка сплюсчилась до детских размеров. Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять: все это время я наблюдала за ними сквозь искривленный участок стекла. Стоило встать в полный рост, и мир вырос вместе со мной. Это открытие вовсе не обрадовало меня, ведь я лишилась своей легенды.

Я не успела додумать, почему Глеб напомнил мне выдуманную когда-то карлицу, потому что в комнату прошмыгнула Лэрис и как бы между прочим поинтересовалась: о чем мы так долго разговаривали.

– Ненавижу эту сумку, – бросила я, дергая заевший замок. – Вечно мы с ней боремся.

– Ты уже уходишь?

– В холодильнике есть суп. В воскресенье я варю себе. Можете доесть, я пообедаю в школе.

– Когда мы пойдем к ней?

– Правда, хлеба нет. Я же не ем, ты знаешь.

– Когда мы пойдем в больницу?

Я выскочила в коридор и запуталась в собственных сапогах. Их безвольные голенища валились мне под ноги, и я отпинавалась, продолжая войну, начатую с сумкой. Вещи не любили меня и редко мне шли. Правда, дешевые вещи мало кому идут. Только маме.

– Наташа, ты не имеешь права лишать ее последнего шанса!

Я успела придавить звук дверью и застегнула пальто уже в подъезде. Кажется, Лэрис что-то еще кричала мне вслед. Или это просто звенело в ушах?

* * *

Не меньше самой кошки, мне нравилось название породы, к которой она принадлежала, – русская голубая.

Эти два слова звучали магическим заклинанием. Стоило их произнести с закрытыми глазами, и вальсы Чайковского вливались в комнату, чуть заглушаемые дыханием бала, шелестом вееров, быстрым, далеким цоканьем копыт. Мамин неведомый Петербург, помолодевший на сотню лет, вырастал за окнами, тревожа запахом Невы, зазывая в неземную высь Исаакиевского собора. Только сунь руки в пушистую муфточку и сможешь побродить по влажным прямым проспектам...

Но кошке не нравится роль муфты. Ей не нужен Петербург, готовый разделить участь Атлантиды. Она любит наш старый дом.

* * *

Все школы в нашем городе обложены асфальтом. Никаких зеленых лужаек нет и в помине.

«А зачем? – возразила директор, когда мама попыталась завести разговор на эту тему. – Их потянет вместо того, чтобы изучать траву на уроке ботаники, поваляться на ней. К тому же, – добавила она, глядя, по обыкновению, «сквозь» собеседника, – большую часть учебного года у нас все равно занимает зима».

Я всегда ходила на работу коротким путем, через квартал «своих» домов, как у нас их именовали. Осенью и весной пробраться по размокающей дороге было довольно сложно, и приходилось, как саперу, каждый день прокладывать единственно верный путь. Но сейчас укатанная дорога не только сокращала расстояние, но и сулила успокоение. Я шла не торопясь, вслушиваясь в мелодию своих шагов, то и дело перебиваемую судорожным бряцаньем собачьей цепи, и отыскивала среди домишек своих любимцев. Чаше всего ими оказывались те, в ограде которых росли одинокие сосны. Мне была понятна эта дикая выходка природы – ворваться в уютный, обжитой огородик и вонзить здесь, точно шест первопроходца, росток далекой тайги.

Снежные ушанки покрывали плоские головы домов, а едва заметные струи дыма напоминали, что под шапками теплится жизнь. Провожая взглядом эти дрожащие от холода, прозрачные облачка копоти, я представляла, как мы могли бы жить в таком доме, и Андрей по утрам выбегал бы во двор, грохоча по деревянному настилу, чтобы вынести собаке миску с горячей кашей и захватить дров. От миски оставался бы в воздухе белый след... У нас непременно была бы собака и сосна возле ограды. И я покрасила бы стены солнечным цветом.

За сто метров до школы из ниоткуда возникала асфальтированная дорога, и это означало, что фантазиям пришел конец.

Построенное еще при Сталине здание школы красовалось множеством «архитектурных излишеств». Белые полуколонны исправно поддерживали пошатнувшуюся от глобальных потрясений школьную систему, а крошечные балкончики изо всех сил пытались придать образу наших будней ощущение изящной легкости. Маме, которая позволяла себе мечтать даже в школе, всегда мерещилось, что по ночам на одном из этих балкончиков (каждый раз – другом) появляется боязливая Джульетта, спутавшая земли и времена, и, дрожа от бесчувственного мороза, все ждет и ждет своего заплутавшего мальчика. Они так и не встретились, потому что жизнь уже дала им другие имена и новые роли.

В школе никогда не бывало тихо, даже когда шли уроки, она утробно урчала, как недавно насытившееся чудовище, которое снова начинает ощущать признаки голода. Тех, кто попадал в его цепкие лапы, оно высасывало полностью, не давая опомниться и заметить, как скудеют с годами мозг и душа, как иссыхает сердце... Что? Уже весна? Когда же замечать, дружок? Четыре подготовки сегодня!

Мама была исторгнута этим ненасытным организмом. Она не могла прийти к нему по вкусу, потому что слишком отличалась ото всех. Например, она никак не могла разучиться мечтать, хотя мечты ее сводились к одному: Петербург... Петербург... Каждый год у нас не хватало средств, чтобы съездить туда всей семьей, я так и не увидела мамино города. Если когда-нибудь я все же окажусь там, то вряд ли испытаю обещанную радость. К тому времени Петербург лишится мамы навсегда.

Мама не уговаривала Лэрис изменить планы, когда она зашла попрощаться. Ту звала Москва. Они с Лэрис были созданы друг для друга, обе шумные и неугомонные. Мама умирала, как, ей казалось, умирал ее город – глубокой, невидимой постороннему смертью. Может быть, дело было даже не в деньгах... Мама просто боялась вернуться туда и лишиться единственной высокой мечты. Города, в которых мы родились, прорастают в нас глубже, чем мы можем предположить, в преступной гордыне скитаясь по миру.

Задержавшись в вестибюле, я перебросилась парой фраз с гардеробщицей. Я всегда была в курсе всех семейных дел школьной «обслужки», как выражалась директор, удивленно поднимавшая брови всякий раз, когда видела меня в такой компании. Ей было не понять: среди них нет нужды постоянно доказывать, что ты – не дура. Я устала заниматься этим еще в детстве.

– Все на месте?

Я влетела в нашу «комнату для внеклассных занятий» за несколько минут до звонка. Это было непростительно: я была обязана встречать ребят, а не они меня. Сдержанное радостное мычание наполнило закуток, переоборудованный из бывшего туалета, в стены которого, видимо, на века вьелся удушливый запах. Запнувшись о вздувшийся от сырости линолеум, я угодила прямо в объятия Сонечки Мамоновой, с готовностью обхватившей меня за талию. Первое время эта девчоночья привычка обниматься приводила меня в содрогание, но мама подсунула мне методику, в которой как дважды два доказывалось, что ребенку необходимо тактильное общение.

– Алешки Романова нет.

– Что с ним? Заболел? – Я постаралась ласково улыбнуться Сонечке и высвободилась. – Чья шапка на полу? Тамара, я принесла тебе книгу о собаках. Какой породы у тебя пес?

Их лица поворачивались ко мне, как подсолнухи к свету, и были столь же простодушны. Доброй волей судьбы именно в моем классе собрались самые чуткие, отзывчивые и воспитанные дети. Нет, они, конечно, и ввали, и ссорились, и дрались, но когда один из мальчиков пришел после химиотерапии обритым наголо, никто в классе не бросил в его сторону ни одного насмешливого взгляда. Мне довелось видеть, как они по очереди, словно маленькие разведчики, выскакивали на переменах в коридор и предупреждали ребят из других классов. Не все понимали сразу, и тогда Алешка Романов кидался на обидчика с кулаками.

Они вступали в жизнь, крепко взявшись за руки, может быть, единственные не разъединившиеся в целой стране. И я с ужасом ждала окончания года, когда не только мне придется расстаться с ними, но и они сами, в очередной раз, будут пропущены через мясорубку так называемого «тестирования», что разделит их, пятиклашек, на «дураков» и «умных», как без стеснения говорили в школе. Какое самоуважение можно воспитать в ребенке, определив его, не так давно оторвавшегося от материнской груди, в разряд «дураков»? «Класс коррекции», – тактично поправляла мама, но я знала, что и ее передергивает от этих нововведений.

– Таким образом мы научим их только одному – легко терять друзей, – сказала она еще до болезни. – Им уже не узнать, что класс может стать настоящей семьей, как когда-то было у нас...

«Так что же с Алешкой?»

Я не стала повторять вопрос вслух, дети и без того догадывались, кто с первого класса был моим любимцем. Сначала я обратила внимание на его царское имя и поинтересовалась у Алешкиной матери, может, каким-нибудь боком...

«Если только из крепостных Романовых», – усмехнулась она и сразу расположила меня к себе.

И вправду, в Алешкиной внешности было мало аристократизма, разве что каштановые кудри, вечно растрепанные. У него было круглое, невероятно подвижное, веселое лицо, и весь он был этаким крепеньким живчиком. Разговаривая, он слегка шепелявил и слишком торопился, глотая окончания, поэтому некоторым учителям его речь казалась невнятной, но я отлично его понимала. Ему всегда было что сказать, и говорил Алешка очень грамотно. Но при этом все перемены заполнялись Алешкиными воплями, гиканьем и хохотом. Редкая драка или игра проходила без его участия. Он был нормальным, современным мальчишкой, единственным сыном в обеспеченной семье, с бабушками и дедушками. У него было все, но мне явственно виделась тайная, лермонтовская, печаль в его лукавых карих глазах, и так хотелось защитить маленького мальчика с царской фамилией от всех ветров, ждущих его впереди.

Я с сожалением подумала, что не увижу Алешку сегодня, и представила его пройдошливую физиономию на пухлой подушке, и тут меня кольнула внезапная догадка. На несколько секунд я словно оцепенела, потом кинулась к своему пальто и начала одеваться.

– Наталья Владимировна, вы куда? – протянули сразу несколько голосов.

– Сейчас уже будет звонок, пойдете в класс. Соня, вот тебе ключ, закроешь здесь. Потом отдашь, только не забудь. И скажешь, что мне срочно понадобилось вернуться домой. Я... Я утюг оставила включенным.

Они восторженно завизжали мне вслед, предвкушая беду, и я на бегу погрозила им кулаком.

Никогда раньше не приходилось мне добираться до дому бегом, и оказалось, что я живу дальше, а бегаю хуже, чем предполагала. Сердце норовило разорвать мне горло и окунуться в усыпляющий холод сугроба. Забежав в подъезд, я упала на перила, но из подвала пахло так, что мое сознание мигом прояснилось.

Домой я вошла уже готовой к бою и с порога громко позвала Глеба. Но вместо него появилась Лэрис, весь вид которой говорил о том, что она готова к бою не меньше меня.

– Чего ты? – неласково спросила она, теребя прядь отросших волос. – Забыла что-то?

– Позови Глеба.

– Зачем?

– Позови. Сейчас я докажу, что вся ваша затея никуда не годится.

– Тебе придется подождать, – Лэрис ничуть не встревожилась. – Недолго, буквально пару минут.

– А чем он так занят?

Не моргнув глазом Лэрис пояснила:

– Его тошнит. Он там корчится над унитазом. Если хочешь, иди к нему.

– Нет уж, спасибо. Это после вчерашнего?

– После сегодняшнего. Что ты наговорила ему? Он и так перебрал вчера, сегодня нельзя было добавлять, а после разговора с тобой он как взбесился. Теперь вот, пожалуйста!

– Ничего я ему не говорила, не сваливай на меня. Давно он этим занимается?

– Курит травку? Еще с армии. Там многие начинают.

– Какая же на Севере травка?

Лэрис наставительно произнесла:

– Травка есть везде.

Прижав палец к губам, она прислушалась и сочувственно вздохнула:

– Ишь, как выворачивает... Подожди-ка...

Она поспешно скрылась в нашем совмещенном санузле и что-то тихо сказала Глебу. Мне были видны только его босые и выразительные, как у рембрандтовского блудного сына, ступни.

Когда же Глеб, наконец, появился, на него было жалко смотреть. На бледном мокром лице по-стариковски выделялись набрякшие под глазами, покрасневшие мешки, а лоб был исполосован болезненными морщинами.

– Ты меня звала?

– Можешь подойти поближе?

Прежде чем сделать несколько шагов, Глеб скривился и прикрыл рукой рот. Он должен был бы вызвать омерзение, но его непроизвольное движение вдруг отозвалось ощущением физической неловкости, и я впервые испытала к нему подобие жалости.

– Ну и что? – спросила Лэрис, наблюдая за нами, и я услышала долгожданную тревогу в ее голосе.

– Посмотри мне в глаза.

– Может, мне еще упасть на колени?

– Вот! Я так и знала! У него же карие глаза. Как у Алешки... А у Андрея, если помнишь, были синие. Мама еще говорила, что синеглазый брюнет – это неотразимо.

– На мой взгляд, кареглазый блондин не хуже, – тотчас заспорила Лэрис. – Я же перекрасила его... Но ты права, конечно, глаза у него откровенно карие. Думаешь, я этого не заметила? Да ты меня просто недооцениваешь!

Ее переполняло ликование, причину которого я не очень понимала. Ласково обняв Глеба, она выпроводила его в комнату и уговорила лечь. Вернувшись ко мне, Лэрис возбужденно зашептала:

– Еще в Москве мы запаслись косметическими линзами, они у Глеба в футляре с жидкостью, можешь проверить.

– Ты прекрасно знаешь, что я не стану проверять.

– Знаю, – согласилась Лэрис. – Но главное, чтоб ты не волновалась. В любой момент он может стать безупречно синеглазым! Ну что? Еще вопросы будут?

Сквозь ее растрепанные волосы алмазно блестящее замерзшее окно кухни. Я даже не заметила, когда к нам вернулось солнце.

Лэрис вдруг вытянула руку и ухватила мочку моего уха. Я едва не отшатнулась. Я уже забыла эту ее привычку тереть во время разговора ухо собеседника. Пальцы у нее были крупными и мягкими, согревающими кожу.

– Знаешь, Ташенька, что я тебе скажу, – вкрадчиво продолжала она. – Ты просто боишься свернуть с проторенной колеи, вот и стараешься найти, за что бы зацепиться? Ты сама внушила себе, что шаг вправо, шаг влево – расстрел. Никто не говорил тебе этого. Ты даже побоялась оторваться от матери и уехать учиться.

– Тогда погиб Андрей, я просто не могла оставить маму!

– Ну, не совсем тогда... Да и не случись ничего, ты бы все равно осталась здесь. Ты просто прикрыла его смертью свою патологическую трусость. Все за тебя всегда решала мама: ты и книжки ее читала, и говорила ее словами, наверное, даже думала ее мыслями, а себя самой ты всегда боялась. Почему, Наташа? Что в тебе такого страшного? Ты куда? Я ведь с тобой разговариваю!

Снег всхлипнул под ногами, когда я выскочила из подъезда. Снег всегда плачет, когда рядом люди.

* * *

На втором году жизни с нашей кошкой случилось небольшое помешательство на почве нереализованного материнского инстинкта. Мы застали ее за сооружением «гнезда» из наших вещей, оставленных без присмотра.

– Я слышала, что такое случается с собаками, – удивилась тогда мама. – Но чтобы кошка...

Несколько дней Цеска провела в «гнезде», тщательно вылизывая живот. Мама пыталась забрать ее к себе в постель, однако кошка упрямо возвращалась на свой пост. Но однажды она вышла из своего убежища и больше не подошла к нему.

Даже кошке не под силу победить законы природы.

* * *

Когда я вернулась, у моих детей уже заканчивался первый урок. Забравшись в «закуток», я уткнулась в чью-то забытую на столе шапку, пряча горящее лицо. Теплый кроличий мех щекотал щеки, и казалось, что зверек еще может ожить. Андрей бы с легкостью мог поверить в это, а Лэрис... Она бы сделала все, чтобы это осуществить. И, может быть, ей даже удалось бы.

В пустом коридоре раздались чьи-то шаги, и я заставила себя подняться. Когда мать Алешки Романова заглянула в мою сумрачную нору, я уже была на ногах.

– Доброе утро, – улыбнулась Романова. – Я такая растяпа, ключи от дома забыла. Хочу продукты занести да опять на работу, а то, боюсь, сметана прокиснет. Вы Алешку не позовете? Пусть мне свой ключ вынесет.

Она улыбнулась, а я почувствовала, как у меня все стекленеет внутри. Одно лишь слово, и раздастся звон. Ужасный звон!

– Но... – я перевела дыхание, – его же нет в школе. Он не пришел, я думала – заболел.

Мои последние слова потонули в ее крике. Это была не истерика, ничего похожего на плач. Крик шел изнутри, не из горла, он рвался изо всех пор ее тела, и казалось, что кожа сейчас лопнет. Из упавших сумок выкатились мандарины и палка колбасы, но женщина не видела их. Ее глаза подернулись смертельным страхом.

– Я отправила его в школу! Он ушел в школу! – Она цеплялась за меня, причиняя боль, но я и не думала ее отталкивать.

Когда мне удалось перехватить ее обезумевшие руки и сильно сжать их, я произнесла уверенным, твердым голосом:

– Да успокойтесь же вы! Может, он просто решил прогулять? Ему велели привести отца из-за вчерашней драки, может, испугался и не пошел в школу.

Я сама не верила своим словам, но Романова неожиданно услышала меня.

– Да? – В ее взгляде проснулась мольба. – Вы действительно так думаете? Он ничего не говорил мужу, это точно.

Резкий звонок с урока, от которого я всегда вздрагивала, окончательно привел ее в чувство. Неожиданно ловко собрав продукты, она бросилась к лестнице, я едва поспевала за ней.

– У детей сейчас завтрак, я не могу пойти с вами, – кричала я ей в ухо, пытаюсь заглушить рев проснувшейся школы. – Я прибегу, как только начнется урок.

Ей было не до меня. Сейчас я принадлежала к тому враждебному миру, где затерялся ее ребенок, и она шла напролом, сбивая чужих детей, которые тоже больше не существовали. Я отстала и несколько секунд постояла на лестнице, пытаюсь справиться с собой. Стекло рухнуло, и все внутри горело от цепких осколков.

Наверное, что-то происходило и с моим лицом: директор, поднимавшаяся в этот момент по лестнице, остановилась возле меня и требовательно спросила, что произошло. Не помню, какие слова я нашла в те минуты, когда необходимость держаться перед Алешкиной матерью отпустила меня, и я начала проваливаться в собственное отчаяние.

Но слова явно были не теми – полное, холодное лицо директора даже не дрогнуло.

– Ну, и чего ты реवेशь?

«Я реву?!»

– Он в школу приходил? Ты его видела? Нет. Значит, никакой ответственности не несешь. Чего панику развела?

Мне пришлось даже слегка тряхнуть головой, чтобы смысл услышанного дошел до нужного центра. Я всегда с трудом ее понимала.

– При чем здесь ответственность? Он же пропал! Алешка Романов!

– Опять двадцать пять! Он же не из школы пропал. Надо было мамочке провожать его и сдавать с рук на руки, раз он такой... Теперь пусть милиция ищет, мы-то при чем? Давай, бери себя в руки, у тебя дети вон уже сами в столовую построились. Здравствуйте... Здравствуйте...

Я боялась обернуться ей вслед, потому что внезапно поняла, что же именно мне мучительно хотелось вспомнить, когда передо мной появлялась наша опытная, энергичная, лучшая из лучших директор. Это была фраза из Моэма, те самые слова, которые Джулии говорит ее сын. О том, как ему страшно войти в комнату, если он знает, что мать там одна. Вдруг там не окажется никого... Это ощущение охватывало и меня каждый раз, когда я встречалась с этой красивой, дородной женщиной, слишком откровенно пахнущей дорогими духами. С женщиной, ни разу не поинтересовавшейся здоровьем моей матери.

Отработанным движением я нащупала чью-то руку, и за мной потянулся коротенький строй. Каждая ступенька опускала в бездну отчаяния: я опять ничего не могу сделать... Среди столовских паров, исходящих от размякшей жареной рыбы и комковатого пюре, меня охватила тошнота, но я упрямо продолжала пихать в себя завтрак. Картошка оказалась, как обычно, сладковатой, будто кто-то вечно путал баночки с солью и сахаром, а рыба скользила по тарелке, словно ее только вытащили из воды. Дети украдкой поглядывали на меня и переговаривались шепотом.

Собирая грязную посуду, дежурная ахнула:

– А вон опять Алешкина мама!

Я вскочила, едва не опрокинув стул (кто-то подхватил его сзади), и увидела, как Романова пытается пробраться к нам – красная, запыхавшаяся, все с теми же перегруженными сумками в руках.

– Он дома, дома! – закричала она, пробиваясь сквозь поток школьников. – Вы были правы, он побоялся позвать отца в школу и решил прогулять. А когда мы утром спускались, он помчался вперед и спрятался под ступеньками. Вы же знаете, какая темень у нас в подъездах! Я и не заметила, решила, что Алешка уже убежал в школу. Здесь же всего два шага... А он преспокойненько вернулся домой и просидел целый день у телевизора.

Я испугалась, что сейчас расплачусь:

– Слава богу! Так вы уже из дома? А почему с сумками?

– Да... В самом деле, почему я не оставила их дома? – озадаченно пробормотала Романова и счастливо рассмеялась.

* * *

Если не вычесывать кошку, она может наглотаться собственной шерсти до того, что в животе у нее образуется плотный комок. И тогда необходима операция, иначе животное может погибнуть.

Почему-то именно вычесывать Принцессу я постоянно забывала, и когда внезапно спохватывалась, то с ужасом представляла, как легко могу стать причиной гибели своей любимицы. Тут же хватала железный гребень (пластмассовый электризуется о шерсть), ловила кошку и, вопреки ее желанию, проводила процедуру. Но после этого мое чувство ответственности опять надолго засыпало.

* * *

После обеда на пластиковом подносе остались две, даже на вид теплые, булочки. Алешки не было, а я не смогла съесть свою. Долго посматривала на них, прежде чем решилась что-то забрать из столовой. Мама никогда не позволяла этого. Обернутые тонкой бумагой, булочки грели руки – зимой в школе всегда было холодно. Слесарь то и дело врывается во время урока в класс и с озабоченным видом ощупывал батареи, но эти настойчивые манипуляции их не согревали. К счастью, дети за урок едва успевали остыть от перемены. Оставалось завидовать их природному умению согреваться, а самой кутаться в подаренную гардеробщицей шаль.

Потом, так и не преодолев внутреннюю дрожь, было зябко возвращаться домой посухрившей улицей, еще не оживленной, не освещенной разноцветными фонарями. Булочки уже не сочились теплом, хотя я несла их под пальто, осторожно, как новорожденных котят, прижимая к телу.

Еще на лестничной площадке, задержав ключ у замочной скважины, я услышала голос Лэрис, выкрикивавшей ругательства. Было странно слышать такие слова из-за нашей двери, будто в опустевшую квартиру вселился злой дух и буйствует на свободе. Каждый из соседей наверняка уже приложил ухо к отсыревшей за зиму двери, чтоб было о чем поговорить за ужином.

Тихонечко, боясь угодить в поток раскаленной лавы, я проскользнула внутрь, разделась и, прихватив остывшие булочки, на цыпочках прошла в комнату. Хотя Лэрис металась, заполняя все небольшое пространство, первым я увидела посвежевшее лицо Глеба, откровенно любующегося неукротимостью стихии с дивана, как со спасательной лодки. Не замечая меня, Лэрис со всей силы припечатала подоконник и чуть ли не зарычала. Мне в голову не пришло ничего более умного, чем сказать:

– Привет! Я вижу, вы тут не скучаете.

– О! – радостно воскликнул Глеб и энергичными знаками принялся заманивать меня на диван. – Скорее, пока тебя не затоптали! Перебежками, я прикрою! Что это у тебя?

Он бесцеремонно отобрал у меня пакетик с булочками и, развернув, издал восторженный вопль.

– Лэрис, продолжай, прошу тебя! А мы пока перекусим. Выспался я на славу, теперь хочется хлеба и зрелищ.

Вторая булочка предназначалась для Лэрис, но у меня вдруг проснулся такой аппетит, что я не смогла отказаться.

– Что происходит? – поинтересовалась я и с удовольствием надкусила сладкую сдобу.

– Последняя плюха идиотам! Очередной «инвест» отдал концы. Нам представилась уникальная возможность наблюдать за проявлением скорби одного из вкладчиков. Лэрис, не отвлекайся, пожалуйста!

– Пошел к черту!

– Лучше бы ты проиграла их в рулетку, честное слово! Там хоть надежда на выигрыш остается. Азарт, к тому же, не последнее дело...

– Можно подумать, ты играл! – Лэрис плюхнулась в кресло, и взгляд ее впился в одну точку. – Кошмар, просто кошмар...

– Ты много потеряла?

Я протянула ей половинку булочки, Лэрис взяла, не глядя.

– В этом доме найдется хоть что-нибудь выпить? Или как за кофе придется бежать в киоск на другой конец города?

Ей снова удалось застать меня врасплох. Пойти навстречу означало раскрыть свой тайник в кладовой, о существовании которого не подозревала даже мама. И уж, конечно, мне не хотелось делиться своими секретами с Лэрис. Особенно с Лэрис. Но я не могла и не поддержать ее.

Они молча проследили за мной, и, вернувшись, с початой бутылкой, я обнаружила на их лицах странную озабоченность.

– Наливай, – я сунула бутылку Глебу и достала маленькие рюмки. – Кажется, там колбаса оставалась в холодильнике.

– Я принесу, – с готовностью вызвалась Лэрис и легко выскользнула из комнаты.

– Почему ты ее прячешь? – вполголоса спросил Глеб, аккуратно разливая водку.

– Какое тебе дело? Мама не выносит даже вида этой отравы. Наверняка наш отец крепко выпивал. Он же был поэтом... Лэрис уже сообщила тебе?

– А ты делаешь только то, что нравится твоей маме?

– Мне только исполнилось двадцать. Считаешь, уже пора хамить ей в лицо?

– Я считаю, что если мать любит... своих детей, то она сможет принять и оправдать все, что с ними происходит.

– Ты не понимаешь! – Я изнывала от бессилия объяснить ему. – Наша мама – это что-то особенное! Она... чистая, понимаешь? У нее даже помыслы чисты, не говоря уж о поступках. Она просто не переживет, если узнает обо мне что-нибудь... плохое.

От болезненной гримасы, исказившей лицо Глеба, мне становилось еще тяжелее. Боль, разделенная с ним, почему-то возвращалась ко мне удвоенной. Уверенным движением он взял мою руку и начал медленно перебирать пальцы. Это был не тот человек, который корчился над унитазом сегодня утром, но и не тот, с которым мы только что потешались над Лэрис. «Сколько же лиц и душ таится в тебе?» – с невольным страхом подумала я, хотя он, напротив, пытался меня успокоить.

– Я тоже так думал... о своей матери. И это вычеркнуло из моей жизни несколько лет. Но Лэрис удалось убедить меня в том, о чем я только что говорил тебе. Мать способна понять даже самое мерзкое в тебе.

– Я думала, вы познакомились с Лэрис уже после смерти твоей мамы.

Он вскинул голову, и в темных глазах промелькнуло что-то недоброе, угрожающее. Разжав пальцы, он отпустил меня, но в этот момент я заметила у него на запястье маленькую татуировку – четырехзначное число. Потянувшись разглядеть ее, но Глеб отдернул руку так, словно я ударила его плетью. Водка расплескалась, и на салфетке расплылось коричневое пятно.

– Что тебе надо? – Глеб вскочил, сдернул салфетку и, скомкав, снова швырнул ее на стол.

– Да что ты? Я просто хотела взглянуть. Что это у тебя?

– Ничего. Глупость одна.

Он опустил рукав и застегнул на манжете пуговицу. Теперь передо мной снова был другой человек, с которым не хотелось оставаться вдвоем в комнате.

– Тебе никто не говорил, что ты не в меру любопытна?

– Из-за чего ты взбесился? Я даже не поняла.

Мои слова не сразу ослабили натянувшуюся до предела пружину. Он приходил в себя медленно, и было заметно, как краска постепенно приливает к щекам.

– Ох, – наконец смущенно выдавил Глеб, – прости, пожалуйста! На меня иногда находят... Сейчас я все уберу. Надо чистую салфетку.

Он открыл нужный ящик прежде, чем я успела подсказать, где их найти. «Кажется, ночью он успел пошариться не только в книгах». Тревожная догадка была сбита вplyвшей с тарелочками Лэрис.

– Я тут нашла еще банку горошка и порезала лучку. Садись, Глеб, давай... За что?

Она любовно оглядела нас повлажневшими черными глазами и провозгласила:

– Чтоб они сдохли!

– Благородно, – кивнул Глеб и, выпив залпом, просипел: – За это – с удовольствием!

– Андрей никогда не пил, – я спохватилась, что это прозвучало как упрек, но было уже поздно.

От них обоих так и пахло холодом. Внезапная тишина разбудила кошку, надменно блеснувшую зеленью глаз. Ее легкий зевок нарушил безмолвие, и Лэрис захлопотала вокруг столика, подкладывая нам кусочки колбасы.

– Как здорово, что мы сейчас вместе, ребята. Честное слово! Я уже давно не выпивала так, по-семейному, в тесном кругу. Эх, Наташка, почему ты живешь так далеко? Могли бы вместе снимать квартиру и частенько садились бы вот так, чтобы видеть друг друга. И поговорили бы не на ходу, а в спокойной обстановке.

– Перестань, Лэрис, тебя бы хватило на два таких вечера, – насмешливо протянул Глеб. – Уж я-то тебя знаю. А потом ты удрала бы в какой-нибудь ночной клуб. И меня бы утащила.

– Лэрис, ты ходишь по ночным клубам?!

Она, как воробей, задержала головой, переводя взгляд с Глеба на меня.

– Ну, бывает, и что? Зато хоть будет что вспомнить! А ты, Наталья, что вспомнишь? Как бутылку в кладовке прятала?

Задохнувшись, я выскочила из комнаты, даже не расслышав фразы, резко брошенной Глебом. Но Лэрис тут же помчалась за мной следом. Поймала меня на пороге ванной и стиснула горячими сильными руками.

– Ну, прости дуру! Ты же знаешь, я брякну что-нибудь, потом сама жалею. У меня просто сердце разрывается при мысли, как ты тут чахнешь одна. Но я не буду лезть. Хочешь, живи здесь, работай в своей школе, читай книжки, пиши стихи... Ты еще пишешь стихи? Но если тебе осточертеет такая жизнь, ты только сообщи, и я все тебе устрою по-другому. Ну все, маленькая, успокойся! Пойдем, выпьем немного, и полегчает. Ты ведь знаешь, как это бывает...

Лэрис обняла меня и привела назад, но неловкость еще некоторое время давила на веки, не давая поднять глаз. Только после третьей рюмки я решилась взглянуть на Глеба.

– Кто-то звонит, – встрепенулась Лэрис и хотела было подняться, но я не могла позволить ей еще и встречать моих гостей. Обида таяла, но островки ее, как остатки снега в апреле, не давали поверить в окончательный приход весны.

– Стой!

Его крик дернул меня назад, как внезапно наброшенное лассо. Обернувшись, я так и застыла с замершим на губах вопросом. Никогда прежде не доводилось мне видеть такого страха на лице мужчины. Лэрис рванулась к нему, как насадка, спеша спрятать под большими крыльями.

– Ну что ты? Это всего лишь кто-нибудь из Наташкиных знакомых. Наташа не пустит его сюда. Правда, Наташа? – зачатила она, прижимая и поглаживая его голову.

Я растерянно развела руками:

– Пожалуйста, если ты так хочешь... Я только не понимаю...

– А тебе и не надо этого понимать, – твердо ответила Лэрис и кивком показала, чтобы я шла к двери.

Отперев, я едва не ахнула, поразившись, как могла забыть про Диму за эти дни. Он стоял на пороге с видом огромного побитого сенбернара и прятал глаза.

– Что случилось?

Он жалко усмехнулся.

– Очень заметно? Я все ей сказал.

– Господи, зачем?

– Сам не знаю... Меня все время тянуло это сделать. Ты меня выгонишь?

Я чуть отступила, пропуская, и стряхнула снег с его шапки. Крупинки попали мне на ногу и кольнули холодом.

– Метет. Я шел пешком. Казалось, в автобусе все будут смотреть на меня.

– Зачем ты поторопился? Разве мы уже что-то решили?

Он с облегчением снял тулуп и, накинув его мне на плечи, внезапно стиснул и стал целовать мои волосы. Его движения, всегда чуть неуклюжие, как у ребенка, обычно умиляли меня и поднимали в душе волну нежности, но сейчас я с трудом сдерживалась, чтобы не оттолкнуть его. Улучив момент, когда его руки слегка разжались, я высвободилась и вдруг увидела Глеба, стоявшего за Диминим плечом. Где-то на заднем плане маячила и Лэрис, но она оказалась затерта двумя огромными фигурами.

Сейчас Глеб ничем не напоминал брата: у того просто не могло быть такого выражения лица. Пришлось всех познакомить, попытаться объяснить Диме, откуда взялись эти странные гости, и при этом постараться не раскрыть ничего, еще немного выпить с ними, слабея от каждого глотка, и удрученно думать, что сегодня придется спать не одной... Я так и не успела решить, как при посторонних называть Глеба, ведь прежде нужно было принять другое, более важное решение, и представила его, как друга Лэрис. Его нервное лицо передернулось при этих словах, но вряд ли они ждали чего-то более определенного.

Когда бутылка опустела, Дима неожиданно вскочил и выволок меня на кухню.

– Так, а теперь говори – кто он? Почему он так смотрит на тебя?

– Я уже сказала: он с Лэрис.

– Это я слышал. Только не пытайся убедить меня, что такой красавчик может, видя тебя, позариться на эту толстуху!

– Когда ты злишься, из тебя так и прет пошлость...

– Я же врач. Мы все в какой-то мере пошляки.

– А я-то думала, у тебя гуманная профессия.

– О нет! Ты, как всегда, ошибалась.

– Что ты сказал своей жене?

Он мгновенно выпустил пар и скукожился:

– Я не назвал тебя, не бойся. Да и зачем ей твое имя? Я просто сказал, что нашел удивительное существо, которое воспитывает детей и пишет стихи...

– Идиот!

– Я сказал, что квартиру оставляю им с дочкой, но она все равно ушла вчера к своим родителям.

– А сегодня?

– А сегодня вернулась... И сказала, что ей будет легче делить меня с кем-то, но не терять совсем. Знаешь, она ведь очень красивая, у нее столько поклонников было в институте. Почему она выбрала меня?

Действительно, странно... Я не произнесла этого вслух. Мне все еще хотелось попробовать прожить жизнь, никого не обижая. Но в этот момент мы оба уже понимали – все странным образом изменилось сегодня, независимо ни от моей воли, ни от воли его жены.

– Она выбрала тебя потому, что почувствовала: этот парень невероятно порядочен, он никогда не бросит в беде близкого человека, какие бы фантазии ни пришли ему в голову.

Это был своего рода сеанс гипноза. Если бы мы оба не были немного пьяны, возможно, внушение и не подействовало, но сейчас Дима слушал меня как завороченный.

– Я ведь никогда не говорила, что хочу за тебя замуж. Откуда тебе было знать, что у меня на уме? Напрасно мужчины воображают, что каждой женщине не терпится выскочить замуж. Мы оба прожили несколько прекрасных недель, но даже девять с половиной и те кончаются... Только не пытайся начать отсчет снова, ладно?

Только на пороге он встрепенулся и спросил, с подозрением заглянув мне в глаза:

– Это из-за него, да? Я ведь сразу понял... Между вами будто электрические волны все время пробегали.

Из комнаты донесся смех Лэрис (как обычно – взхлеб!), и я рванулась туда, почти непроизвольно вытолкнув Диму дверь. Она захлопнулась так легко, словно ее подхватило течение жизни, унеся от меня и Диму, и его неведомую жену, которую он все еще любил и с наслаждением мучил. Все-таки странная это специальность – хирург...

* * *

Принцесса всегда считалась моей кошкой. Мне не удавалось даже уснуть, пока ноги не придавит тяжелое в сонной расслабленности маленькое тело. Но год назад она внезапно ушла к маме и с этого момента спала только с ней.

Говорят, кошки чуют болезнь и пытаются лечить необъяснимыми токами своего организма. Но Цеска была кошкой мелкой породы. Опухоль оказалась ей не под силу.

* * *

Я проснулась с ощущением радостного спокойствия – Лэрис рядом. Но мое маленькое солнце тотчас покрылось пятнами: все перипетии последних дней не замедлили напомнить о себе. Повернувшись на бок, я некоторое время смотрела на обмякшее во сне лицо, и горестный стон умирающей радости звучал во мне все сильнее: о, Лэрис...

По-настоящему мы с ней никогда не дружили. Подруг у нее было слишком много, а я не хотела быть лишь одной из... Но, как я ни сопротивлялась, все же попала под лучезарное воздействие ее жизнелюбия, которого не омрачила даже гибель моего брата.

Задержав ладонь в сантиметре от голого плеча, я кожей ощутила исходящее от Лэрис тепло. Она не улыбалась и не причмокивала во сне, и все же ее вид вызывал умиление, легонько вытесняющее обиду. Стараясь не задеть Лэрис, я выбралась из постели и, наспех одевшись, вышла из дома. Я должна была увидеть маму прежде, чем какое-либо решение перевесит чашу весов. Хотя она почти не говорила со мной, я надеялась прочесть подсказку в ее угасающих глазах, но, войдя в палату, нашла маму спящей.

Когда врачи отказались оперировать, мама недрогнувшим голосом попросила не остригать в таком случае волосы, так украшавшие ее. Это желание умереть красивой показалось мне проявлением слабости, и я испытала неловкость за человека, которым привыкла гордиться. И все же так и не осмелилась намекнуть, что истончившиеся черные пряди, разметавшиеся по больничной наволочке, уже не красили ее. Они умерли и ждали, когда мама последует за ними.

Единственно живыми казались крошечные сережки, поблескивающие в пухлых мочках ушей. Раньше мама носила длинные серьги, доставшиеся от бабушки, но несколько лет назад Андрей подарил ей эти, с фианитом, вместо бриллианта. Каждое лето он разносил телеграммы, стараясь заработать побольше, и однажды я вызвалась ему помочь. Но мне достались такие немыслимые адреса, что я попросту закопала бланки в одном укромном месте. Конечно, предварительно прочитала их все и убедилась, что ничего особенного там не было. Я со смехом призналась в этом брату, но он не рассмеялся, а пришел в ярость, обругал меня и потащил откапывать телеграммы. До темноты мы разносили их по адресам, и всюду нас облаивали цепные собаки.

«Не говори маме», – попросила я, хотя знала, что Андрей способен наорать на меня, но не расстроить ее. Для него она была идеальной женщиной...

Родившись в Петербурге и там же став литературоведом, мама была воспитана в тех традициях русской интеллигенции, что склоняли людей к самопожертвованию, самоотречению, и первым подобным актом для нее стало замужество. Случайно познакомившись с нашим будущим отцом, неизвестным поэтом из Сибири, она была настолько поражена его необузданным талантом и очевидным невежеством, что увидела свое предназначение в постоянном вытягивании этого человека из бездны мрака. С чемоданом спасательных канатов мама последовала за ним в городок, равный по величине одному из районов Петербурга. Вложить свои познания здесь было некуда, кроме обычной средней школы. Но главным делом жизни она по-прежнему считала развитие своего юного талантливому мужа.

Говорят, они весело жили в тот первый год... Из ЗАГСа, за неимением денег, они отправились не в ресторан, а в заезжий зоопарк. Молодая чета Смирновых – Владимир и Анна. В общении с животными они оказались не оригинальны: их внимание первым делом привлекли обезьяны. Они подошли к большой клетке, где размещалась семейная пара, и прочитали табличку: «Гамадрил Вовка и гамадрил Нюрка». Мама говорила, что так она не хохотала никогда в жизни.

Хотя, судя по ее рассказам, в тот год ей доводилось много смеяться. Она часто вспоминала, как однажды отец выступал перед первоклассниками с циклом детских стихов. Дело происходило в нашей школе, но не в мамином классе – она вела литературу у старших. На этот урок учительница привела своего пятилетнего сына, чтобы он тоже приобщился к поэзии. Целый час малыш просидел на первой парте, не шелохнувшись и чуть приоткрыв нежный рот. Отец, конечно, был тронут таким вниманием ребенка.

В конце выступления он, как водится, поинтересовался: есть ли вопросы? Дети засмутились, и только крошечный сын учительницы поднялся из-за парты, с мольбой вытянул ручку и попросил: «Дяденька, дай потрогать!» Отец даже слегка испугался: «Что – потрогать?» Оказалось, мальчик весь урок не сводил глаз с блестящей лысины моего отца, образовавшейся чуть ли не в девятнадцать лет. Желание ребенка было удовлетворено, а мама едва не задохнулась от смеха на последней парте. В то время она уже была беременна братом, и сидеть за партой для первоклассника было тесновато, но мама никогда не пропускала выступлений мужа, полагая, что в ее присутствии он собирается.

Благодаря маминым усилиям вышел его первый и единственный сборник, отредактированный ею с такою тщательностью, что в издательстве не сочли нужным что-либо менять. Почти одновременно с книгой появился на свет и мой брат. С самого рождения Андрей обещал быть круглым отличником, ухитрившись явиться на свет пятого числа пятого месяца пяти килограммов чистого веса. Когда ему исполнилось пять лет, отец исчез из дома, оставив записку, которую нам с братом не суждено было прочитать. Я уже не помню, плакала ли тогда мама. До гибели Андрея мне не приходилось видеть ее слез.

– Почему мы не ходим в церковь?

Ни один мой вопрос не мог заставить маму враспloch.

– Потому что теперь туда ходят все.

– А раньше? Мы ведь и раньше не ходили.

Она отодвинула тетрадь с планами, которые ненавидела, и, притянув меня, усадила к себе на колени. Теперь мои глаза были на уровне ее волос, и я могла отыскивать в них приметы старости.

– Когда ушел ваш отец, я начала работать по двадцать часов в сутки, чтоб хотя бы прокормить вас. Если бы все это время я молилась Богу, вы умерли бы с голоду. Вот тебе и ответ. Ты поняла?

– Поняла. Мне тоже не верится, что нас будут наказывать еще и на том свете.

Мама беззвучно рассмеялась:

– А, вот ты о чем! Не знаю, не знаю... А вдруг все-таки накажут?

Я только помотала головой и слезла с ее колен. После смерти не будет ничего – ни прощения, ни наказания, я твердо это знала. И не могла представить что-либо страшнее этого...

... Я не встречала в жизни женщины красивее, чем наша мать. Ее темные длинные волосы всегда были распушены так, словно в лицо ей дышал никем больше не ощущаемый теплый ветер, а щеки розовели от едва сдерживаемого смеха. Казалось, она всегда смеется: глаза блестели янтарным теплом, а маленькие ноздри и подвижный рот чуть дрожали улыбкой. Она была очень высокой и тоненькой, ходила стремительно, и волосы ее всегда развевались. Маме и в голову не приходило собрать их, чтобы выглядеть, как подобает учительнице, но никто не осмеливался сделать ей замечание. Когда она начинала говорить сильным, низким голосом, по обыкновению чуть запрокинув лицо, в нем играли нотки иронии, хотя никого и никогда мама не ставила в глупое, унижительное положение.

Ученики обожали ее, звали за глаза «Этуаль», и она, без сомнения, была звездой. Дважды в год, в дни рождений, мамыны подруги желали Андрею стать умным, как мать, а мне такой же красивой. Это и говорилось, и воспринималось как шутка. Никто всерьез не имел в виду, что такое возможно.

Как никто и не заметил, когда родилась в ней боль, начавшая поедать не расположенный к унынию мозг. Наверняка мама справилась бы с ней, не позволила болезни развиваться, если бы летом не пришло сообщение: автобус, в котором ехали пограничники и несколько русских женщин, был обстрелян из гранатомета, найденного потом неподалеку. Андрей погиб смертью храбрых. Так написал его командир.

Но ведь он мог и ошибиться, если труп был изуродован до неузнаваемости... Я взглянула на часы и вскочила, испугавшись, что опоздаю в школу. Мама так и не открыла глаз, возвращавших ее лицу живой свет, но в тот момент, когда я вставала, другое лицо, все еще пугавшее меня, словно принадлежало гонцу с того света, мелькнуло за стеклянной дверью палаты. Я бросилась за ним следом, задохнувшись от бешенства, – он посмел следить за мной – но в коридоре Глеб сам шагнул мне навстречу.

– Извини, – пробормотал он, пытаясь ухватить меня, – это черт знает какая наглость с моей стороны, но я должен был увидеть ее прежде... И главное, тебя рядом с ней. Здесь не встретится никто из ваших знакомых? Ну, не смотри так, пожалуйста!

– Зачем? – Я увертывалась, боясь даже коснуться его.

Линолеум жалобно повизгивал у нас под ногами. Меня пугало, что мама услышит нас, окликнет, и тогда все внезапно откроется. Я прорывалась к выходу, пытаясь обогнуть Глеба. Со стороны это, должно быть, напоминало игру в салки двоих выживших из ума взрослых людей. Наконец, мне удалось выбраться на лестницу, и ступени торопливо, но глухо отсчитали мои шаги. Других я не слышала, будто Глеб несея над землей, как огромный, прекрасный Демон.

Настиг он меня только за порогом, когда я уже успела хлебнуть терпкого морозного воздуха и очнулась от наваждения. Укутанный в дымку декабрьский рассвет робко напоминал о радости жизни, но мало кто верил ему.

– Да постой же ты! Я не хотел ничего плохого. Наоборот. Мне сдуру показалось, что я сумею поддержать тебя. Сам не знаю, с чего вдруг такой порыв... Я много странных вещей делаю. Вот, например... – он полез за пазуху, – принес тебе... Ты ведь не успела позавтракать?

Апельсин вспыхнул на его ладони ярким воспоминанием, и на моих щеках загорелось его отражение.

Глеб рванулся вперед и больно схватил меня за локоть, испугавшись, что я опять потеряю сознание. Сквозь внезапно сгустившуюся морозную пелену я различала только его глаза. Они были синими. Синими.

– Что все это значит?!

– Ты о чем? У тебя аллергия на апельсины?

– Не валяй дурака! Зачем ты напялил эти дурацкие линзы?

– Но я же мог встретить кого-нибудь из знакомых.

– И что дальше? Ты бы не моргнув глазом выдал себя за Андрея? Разве мы уже решились на это? А все остальное? Откуда ты знаешь?

– Что – знаю?

Мне было легче ударить его сейчас, чем объясняться скользкими двусмысленностями.

– Она посвятила тебя во все, да? Значит, она знала! От него знала! И про Босха, и про апельсины, и про... Это уже ни для кого не секрет! О боже...

Чтобы не видеть его фальшивых глаз, я прижала к лицу ладони и двинулась вслепую. Но он был рядом, я это знала, хотя звук наших шагов сливался в одну протяжную скрипучую мелодию, похожую на заставку из американского вестерна.

– Я ничего не понял, – сердито заговорил Глеб. – Кто такой Босх? Лэрис ничего мне не говорила. Апельсин я купил совершенно случайно. Сначала хотел взять банан, потом решил, что апельсины полезней.

– Я не верю тебе.

– Не веришь, – кивнул он и попытался запихать апельсин в карман. – Это твое дело...

– Дай его сюда!

Прохладная корка оказалась толстой и пористой. Такую приятно пожевать, обдавая небо горьковатыми брызгами.

– Я съем его в школе.

– Ты больше не сердись на меня?

– А это что-то меняет?

– Это меняет все.

– Я не собиралась ничего менять.

– Но ты ведь хочешь, чтобы поправилась мама?

– А ты?

Привлеченная запахом апельсина, который я все еще несла в руке, стройная дворняга замерла, поравнявшись с нами, но, разочарованно вздохнув, продолжила свой путь. Глеб проследил за ней и ответил только, когда собака скрылась за сугробами.

– Я ведь приехал сюда. А вот ты... Есть хоть что-нибудь, хоть какая-нибудь мелочь, которая склоняла бы тебя на сторону Лэрис?

Я не призналась ему, потому что не сумела бы объяснить взаимосвязь, но такой мелочью для меня стал вчерашний крохотный эпизод с Алешкой Романовым.

– Ничего, если я не пойду тебя провожать?

Глеб боязливо оглянулся и, как киношный шпион, поднял воротник. Синие линзы не очень-то придавали ему уверенности. Казалось, что он все время настороже. И взгляд, и физиономия, и вся его фигура были скованы таким напряжением, что я и сама начинала нервничать в присутствии этого человека. Поразмыслив, я решила, что так ведут себя все наркоманы, ведь прежде мне не приходилось встречаться ни с одним.

– Я и не прошу провожать меня. Иди домой, к Лэрис.

Имя Лэрис подействовало на него, как волшебное заклятье – он мгновенно успокоился и даже улыбнулся напоследок. Поворачивая за угол, я оглянулась и увидела, как Глеб все ускоряет шаг, готовый в любую секунду пуститься бегом.

– Ох, Лэрис! – выдохнула я, пораженная этим зрелищем. – Как тебе удалось добиться такого?

* * *

Кошка вернулась ко мне не сразу. Мамина кровать пустовала уже пару дней, но маленькая Принцесса еще впитывала уходящее тепло мамино тела. На меня она глядела бесстрастными огромными глазами, цвета едва наметившейся осени, и подходила только проголодавшись. Не знаю, что она испытывала – чувство вины или торжество.

* * *

В суть своего замысла Лэрис посвятила меня вечером, плотно прикрыв при этом дверь в «светелку». Как обычно, она уселась на подоконник, упершись пятками в батарею, и стала похожа на шаловливого Карлсона, по простоте душевной нарушившего мое уединение. Но Карлсон этот был нашим, русским, потому что проложенная для тепла между прогнившими рамами тряпичная «колбаса» была сверху укрыта слоем распушенной ваты, и было похоже, будто Лэрис уселась на небольшой сугробик. В детстве мы любили падать на снег спиной и, широко водя руками вдоль тела – вверх-вниз, – делать «бабочку». Это была дань нашей памяти о лете, превратившемся из времени года в мечту. Зима тянулась так долго, что успевала стать нашей жизнью.

– И как ты собираешься объяснить все это маме? – спросила я напрямик, видя, что Лэрис тянет время.

Она стрельнула глазами, проверяя мою готовность к разговору, и протяжно вздохнула.

– Ну, в общем... – начала она не очень уверенно, однако я знала, что Лэрис разойдется. – Может, тебе это покажется неправдоподобным, но так бывает, честное слово!

– Небывалое бывает... Особенно, если в этом замешана ты, Лэрис.

Она обиженно вскинула брови, но тут же, с ходу, уговорила себя не обращать внимания. Лэрис всегда удавалось быстро добиваться взаимопониманий с собой.

– Значит, легенда такая... Только ты выслушай до конца, не перебивай! Когда из гранатомета обстреляли их автобус, Андрей не погиб, понимаешь? По нашей версии, конечно. Он был контужен и плохо соображал. Очнулся от удушья. Пытаясь разорвать воротничок, он порвал и веревочку, на которой держался его солдатский жетон, и бросил его там же. Позже кто-то, видимо, нашел этот жетон, и Андрея посчитали погибшим. Там ведь мало кого опознать можно было. Мы даже не знаем, лежало ли вообще в том гробу хоть что-нибудь...

В наступившей тишине возникли шаги, и у меня на миг остановилось сердце, будто тень брата внезапно обрела плоть.

– Это Глеб, – она успокаивающе подняла ладонь. – Так вот, Андрей остался жив, но все случившееся до того потрясло его, что он понял: все, больше ему не выдержать ни часа. И он ушел. Сбежал. Дезертировал, если хочешь.

– Нет!

От неожиданности Лэрис лишилась упора и едва не слетела с окна. Шаги за стеной замерли.

– Чего ты орешь? – озадаченно спросила она. – Это же только мои фантазии.

– Мой брат никогда не дезертировал бы, – твердо сказала я. – В это мама ни за что не поверит.

Лэрис сочувственно покачала головой:

– Дура ты! Да она во что угодно поверит, лишь бы он оказался жив. В отличие от тебя, Анна Васильевна понимала, что ее сын – обыкновенный человек. Значит, это могло с ним случиться.

– Мама мечтала видеть его похожим на Ланселота!

Лэрис прыснула:

– Скажешь тоже, Ланселот... Он драться-то не любил. И скорости боялся.

– С чего ты взяла?

Лэрис только руками развела:

– Я всегда это знала. А ты ухитрилась прожить с ним столько лет под одной крышей, а разглядеть лишь то, что тебе хотелось.

– Неправда! Я знала его лучше вас всех!

– Ты будешь слушать дальше или нет?

У меня не было выбора, я обязана была знать, что они собираются врать маме. Но Лэрис неожиданно передумала.

– Пожалуй, я не буду посвящать тебя во все подробности, – с сомнением произнесла она и, решившись, энергично кивнула. – Да, не буду. Лучше тебе не знать, чего это стоит: добраться до Москвы без денег, без еды да еще в солдатской форме. Ну, форму он, конечно, сменил...

– Как?

– Я же сказала: тебе этого лучше не знать. Ты ведь снова начнешь кричать, что Андрей не мог такого сделать, это чересчур мерзко.

– Но маме ты собираешься рассказать все в деталях...

– Ей – да. Безусловно. Уж она-то понимает, что нет на свете такой мерзости, которую человек не смог бы совершить, если ему хочется выжить. Просто выжить.

– Что ты придумала, Лэрис? – спросила я, замирая от недоброго предчувствия. – Он убил кого-то по твоей легенде?

Она испуганно замахала руками и вытаращила на меня глаза:

– Да бог с тобой! Вот еще выдумала... Я хоть вру, да знаю меру. Убийство – это уже перебор, а вот воровство... Все-все! – воскликнула она, театрально зажимая себе рот. – Больше ни слова. Он добрался до Москвы и все. Знаешь, если не гнаться за удобствами, можно доехать в любую точку страны. Ему было не до удобств.

– Итак, он в Москве... И ты – тут как тут!

Лэрис обиженно хмыкнула:

– Не притягивай за уши. Он позвонил мне.

– Почему тебе? – не стерпела я. – Андрей позвонил бы домой.

Вздыхнув, Лэрис сделала страдальческое лицо:

– Как ты не понимаешь? Он же всего боялся. Ему казалось, что за вашей квартирой следят, телефон прослушивают, ищут его. Он и сейчас-то боится выйти за порог... Ну, это мы Анне Васильевне так скажем.

В Москве они встретились, сняли квартиру, и пока он набирался решимости выйти-таки за порог, Лэрис крутилась, зарабатывая на жизнь. Для придания храбрости она обесцветила его и заказала косметические линзы, меняющие цвет глаз на карий.

– А! – вскрикнула я. – Вот как, да? Все наоборот. Это ты ловко придумала. А твой Глеб не запутается, когда надо снимать линзы, а когда надевать?

– Не запутается. Это не самое сложное, что ему предстоит.

– А если он проболтается про институт? Ты же говорила, что Глеб учится на экономическом.

– Учился, – вздохнула Лэрис. – Он бросил. А что, разве я не смогла бы дать любимому человеку образование?

– Ты так горячо говоришь, будто это было на самом деле.

Вместо ответа она с кряхтением потянулась и сползла на пол. По ее оживленному лицу было ясно: Лэрис полагала, будто уговорила меня. Но я еще не готова была сдаться.

– И ты сможешь спокойно поведать маме, как три года скрывала, что ее сын жив? И перед отъездом не открылась? Кстати, а почему ты уехала на самом деле? Ведь все действительно произошло так, как ты сейчас рассказывала: ты внезапно собралась и умчалась в Москву. Но перед этим вы говорили с мамой... О чем? Что тогда случилось?

Лэрис виновато захлопала ресницами, на моих глазах превращаясь из Карлсона в Чебурашку.

– А она тебе ничего не сказала? Значит, и я не скажу. Только не обижайся, к чему теперь это ворошить? Пойдем к ней. Нельзя с этим тянуть.

– Она не поверит, – продолжала настаивать я. – Ее сын – дезертир. Уму непостижимо... Знаешь, по-моему, уж лучше считать его мертвым.

– Нет! – вдруг выкрикнула Лэрис и угрожающе двинулась на меня. – Вот еще и поэтому он боялся вернуться домой! Потому что знал, как ты отреагируешь. Лучше мертвец, чем трус. Да, это на тебя похоже. Это ты обрекла его на три года скитаний, три года страха, ведь ему казалось, что сгоряча ты можешь даже выдать его властям. Чтобы он искупил, так сказать! И заодно откреститься от брата-дезертира. Ты же у нас бескомпромиссная, как Павлик Морозов!

– Замолчи, Лэрис!

Глеб ворвался в «светелку» и, схватив ее, зажал рот рукой. Глянув на меня через плечо, он сухо пояснил:

– Она слишком вошла в роль. Ты же знаешь, Лэрис чересчур впечатлительна. Иногда она и впрямь начинает видеть во мне твоего брата.

Но Лэрис не собиралась успокаиваться.

– А ты-то? – кричала она, отбиваясь от Глеба. – Что ты такое особенное из себя представляешь, чтобы судить других?

– Я? Да если хочешь знать, мне всегда было плевать на себя! Я думала только о нем. Я не могла позволить такому человеку, как Андрей, остаться никем.

Лэрис на миг застыла, впитывая мои слова, и откликнулась уже другим голосом:

– А вот это правда. Ты думала о нем даже слишком много. Лучше бы поменьше.

Она потерлась о плечо Глеба, как бы освобождаясь от пелены забытья, и подняла на меня потемневшие глаза. У нее задрожали губы, она хотела было что-то сказать и не смогла.

Я пробормотала, что не сержусь и уже привыкла к выходкам Лэрис, но ее почему-то передернуло от моих слов, и Глеб предусмотрительно опять зажал ей рот рукой.

– Собирайся в больницу, – приказал он мне. – Уже стемнело, можно выходить. Похоже, мы даже рискуем опоздать. До которого часа там прием?

...Мы нарядили его в старую Андрееву куртку на меху. На брате она сидела лучше, Глеб для нее оказался слишком худ. И во время суетливых сборов, и по дороге в больницу он был угнетен и молчалив, и хотя не озирался как обычно, но и не поднимал головы.

На половине пути Лэрис внезапно остановилась и схватила меня за руку.

– Давайте зайдем, – умоляюще проговорила, она и указала глазами на деревянную церквушку, построенную в прошлом году, как утверждала молва, на деньги мафии – грехи замазывать.

– Вот еще. Зачем?

– Как зачем? Ты что, не знаешь, зачем туда ходят?

– В нашей семье не принято было полагаться ни на кого, кроме самих себя.

Лэрис нахмурилась и отвела взгляд:

– Вот от гордыни-то все ваши беды...

Мне показалось, Глеб смотрит на меня испытующе, но я не собиралась развивать эту тему. Задев его локтем, я пошла вперед, потянув их за собой цепочкой шагов. Навстречу попа-

дались только представители двух враждующих лагерей – собачники и милиционеры. Не имея собаки, я всегда была на стороне первых: какой смысл заводить пса для охраны, если придется надевать на него намордник?

За спиной Глеб тихо переговаривался с Лэрис, и мне казалось, что все время слышится мое имя. В вестибюле больничного корпуса он остановил меня и нервно облизал губы.

– Тебе страшно?

– Мне нужно покурить... – Он принялся торопливо шарить по карманам. – Черт, я не переложил сигареты! Лэрис, у тебя с собой?

– Андрей не курил, – заметила я, когда она достала пачку.

– Закурил бы! – У него смешно сорвался голос, но никто из нас не улыбнулся. – И если ты мне еще хоть раз напомнишь, каким чудом был твой слюнтяй братик, я тут же уйду, поняла? Я – не он и не собираюсь таким становиться.

К нашим ногам подбежала шустрая лохматая собачонка, подергала носом и, чуть отступив, пустила струйку на кафельный пол.

– От твою мать! – воскликнула гардеробщица и проворно выбралась из-за своего прилавка. – Разрешила погреться на свою голову... Вот и делай после этого добро!

Лэрис прыснула смехом, и Глеб как-то сразу обмяк. Заметив, что он собирается закурить, гардеробщица погнала его на крыльцо, но Глеб не пошел, молча спрятал сигарету и начал раздеваться.

– Сними шапку, – сказала я Лэрис, и она послушно извлекла темную копну волос, мгновенно превратившись в приземистую толстушку.

– Что ты ей скажешь? – на ходу спросила я у Глеба, когда мы миновали переход в тот корпус, где лежала мама. – Первые слова?

– Но ведь я хочу сказать их ей, а не тебе, – огрызнулся он. – Я не собираюсь репетировать перед вами.

«Андрей никогда не разговаривал в таком тоне», – подумала я и остро затосковала по нему – неповторимому.

– Ладно, – согласилась я через силу, – будем надеяться, что ты – мастер экспромта.

– Слушай, заткнись! – Он круто развернулся, и я воткнулась лицом в его шерстяной свитер. От него шел незнакомый, чужой запах.

«А что, если все выйдет по плану? – Я приотстала, не спуская глаз с его твердой спины. – Что тогда будет?»

Моя рука невольно потянулась к широкому плечу, но Глеб сейчас был слишком далек, я не смогла удержать его. Лэрис обернулась на ходу и мотнула головой, поторапливая меня. Ее лицо горело от возбуждения и быстрой ходьбы, мне даже захотелось коснуться его холодной ладонью, но было некогда, некогда...

– Куда это вы все?

Давно знакомая медсестра преградила нам дорогу, и я испугалась, что Глеб сейчас собьет ее с ног, охваченный своей безумной идеей. Но он внезапно остановился и посмотрел на нее сверху вниз, как мне показалось, даже дружелюбно.

– А, это ты, – медсестра узнала меня, но тут же снова перевела взгляд на Глеба, и черты ее оживились. – А это... с тобой?

– Это ее брат, – вмешалась Лэрис, делая шаг к нему и загораживая меня. – Мы считали, что он погиб в Чечне. Нам даже гроб прислали. Закрытый, правда... А он вот вернулся...

Она, казалось, сама была изумлена тем, что произошло. У меня все мелко-мелко задрожало внутри: началось... Медсестра слушала, приоткрыв перламутровый рот и чуть отклонив к плечу голову, стянутую крахмальными тисками шапочки, делавшей всех сестер похожими на Нефертити.

– Вот это да! – выдохнула она, и стало очевидно, что Лэрис удалось вызвать потрясение. – Черт, как в кино!

– Точно, – подтвердила я, но моего шепота никто не расслышал.

Сестра уже шла на попятную, бормоча, что, конечно, раз такое дело... Но толпой все равно нельзя... Глаза Глеба снова засветились отрешенностью, и только тут я заметила, что они вновь стали темно-синего цвета. Это были глаза моего брата, я могла бы дать на отсечение не только руку, но и голову.

– Вот ты... и ты... – медсестра неуверенно ткнула пальцем в нас с Глебом. – Вам можно пройти. А ты-то кто?

Мне уже не были слышны объяснения Лэрис. Ей наверняка было что порассказать заинтересованному слушателю. Я шагала по слабо освещенному коридору рядом с Глебом, и в голове у меня надувался плотный шар. Он уже давил на уши и глазные яблоки, быстро приучая меня передвигаться на ощупь. За ручку двери, ведущей в мамину палату, я схватилась первой, тщетно пытаясь преградить Глебу дорогу. Он отодвинул меня и вошел.

В то же мгновение шар в моей голове испустил дух, и я отчетливо увидела, как Глеб осторожно, будто пробираясь по льду, движется к маминой кровати. Она не спала и, когда он вошел, смотрела в окно. Белый холодный свет от фонаря, освещавшего наполовину обросшее снежной коркой стекло, заливал ее и без того бледное лицо, придавая ему нездешний, лишенный плотской живости вид. Она всегда была больше духом, чем телом, просто сейчас это стало бросаться в глаза.

Заслышав скрип двери, мама чуть повернула голову, раздираемую изнутри опухолью, и безо всякого удивления взглянула на Глеба. Должно быть ей почудилось: смерть взяла ее так бережно, что она и не заметила этого. Оставалось только радоваться – на пороге ее встретил самый лучший, самый любимый, самый красивый, измученный ожиданием...

Я замерла, скрытая незатворенной дверью, стекло в которой было задержано белой кулиской. С одного боку она немного сбилась, и я, присев, припала к этой щели. Я видела Глеба лишь со спины, но спина-то как раз ничего не выражала. Она не вздрагивала и не напрягалась. Мамино лицо по-прежнему казалось безжизненным. На миг я даже испугалась: вдруг она утратила остатки зрения и просто интуитивно смотрела именно в ту сторону, откуда раздавались шаги?

Но в тот же момент что-то сместилось в ее больной голове, и краски внезапно прихлынули к щекам. Стоило ей сделать попытку приподняться на локтях, как Глеб оказался рядом и подхватил ее, приняв в большую ладонь плохо державшуюся голову. Теперь они были совсем близко, и я сжалась, ожидая... Сама не знаю, чего я ожидала. Так они были близки, что даже дыхание их смешивалось, пропитываясь запахом другого.

Стараясь не скрипнуть, я проскользнула в палату и остановилась на пороге. Никто не обратил на меня внимания. Обе мамы соседки по палате затаив дыхание глядели на Глеба, а он не отрывал взгляда от мамы. Сейчас она лежала на его руках, будто пришел черед сына баюкать свою обессиленную от жизни мать. Я ждала, когда кто-то из них произнесет хоть слово, но оба молчали, и мне стало ясно: было глупо бояться, что наша мать способна испустить животный крик, подобный вырвавшемуся из груди Романовой. Но это меня не обрадовало. Их отношения вновь ускользали от моего понимания.

«Но это же не он!»

Я едва удержалась, чтобы не выкрикнуть это и не перерубить одним махом наливающуюся звенящей прочностью, возникающую на моих глазах связь. Это молчание, это выражение, наконец, обретенного покоя на мамином лице, эта уверенная нежность в его руках – все было так неподдельно, так естественно, что вызывало восхищение и ужас перед бесстрашием таланта Глеба. Новый великий лицедей. Не зря он бредил Голливудом... Да нет, не он, я опять перепутала.

– Мама, – позвала я, чувствуя, что больше не в силах оставаться в партере, – позвать врача? Тебе дать какое-нибудь лекарство?

– Нет, – ответила она механически, даже не взглянув в мою сторону.

– Хочешь, я налью тебе воды?

– Нет, – на этот раз в ее голосе послышалась досада.

Мама опять подалась чуть вперед, и Глеб, стоя на коленях, тут же помог ей. Она не делала даже попыток обнять его, руки были безжизненно вытянуты поверх одеяла. Просто смотрела и молчала. Потом ее синеватые губы задрожали, и, казалось, мама была готова расплакаться. Но вместо слез прозвучал шепот:

– Господи... Господи... Спасибо тебе...

И вдруг Глеб заплакал. Этого я никак не ожидала. Это превосходило нормальные людские возможности. Он все еще держал ее ослабевшее тело на весу и прижимался лицом к несвежему белью, укрывавшему маму. Я не могла этого дольше выносить и тихо вышла в коридор. Никто из них не окликнул меня.

Лэрис все еще болтала с медсестрой. При виде меня она торопливо бросила: «Погоди-ка...» – и как-то боком двинулась ко мне. Ее длинная тень – порождение настольной лампы – опережала ее, но, преломленная в коленях, она утрачивала сходство с Лэрис.

– Ну? – ее приглушенный голос заполнил длинный пустой коридор. – Как там?

– Лэрис! – Я цепко схватила ее за плечи, пытаюсь через боль пробиться к ней настоящей. – Скажи мне, Лэрис, как это возможно?

* * *

Я могла любоваться своей кошкой часами. Ее дару мгновенного перевоплощения могла бы позавидовать любая актриса. Вот она вскакивает утром ко мне на постель – нахальный сорванец, в раскосых глазах которого зеленым огнем светится жажда приключений нового дня. Голод пробуждает в ней обольстительницу, но не расчетливую, а подверженную страстям. Она трется о мои ноги всеми чувствительными частями своего тела, и предчувствие наслаждения исторгает стоны из глубины ее кошачьего существа.

Наевшись, Цесса становится леди. Ее взгляд источает холодное презрение, в походке не остается и следа былой суетливости. Узкая вытянутая морда обретает невозмутимость сфинкса.

Но тут же – ап! Она раскидывается в самой вульгарной позе и начинает бесстыдно вылизываться. В глазах – вызов: да, такая вот я – стерва!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.